Перекрёстки

N 1-2/2007

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ



Европейский гуманитарный университет
Центр перспективных научных исследований и образования (CASE), проект «Социальные трансформации в пограничье: Беларусь, Украина, Молдова»

Перекрестки № 1–2/2007
Журнал исследований восточноевропейского пограничья
ISSN 1822-5136

Журнал выходит с 2001 г.
Периодичность: ежеквартально

Адрес редакции и издателя:
Европейский гуманитарный университет
Kražiu str. 25, LT-01108
Vilnius Lithuania
E-mail: office@ehu-international.org

Формат 70x108 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура «GaramondBookNarrowC».
Усл. печ. л. 15,925. Тираж 299 экз.
Отпечатано: «Petro Ofsetas»
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Авторы статей несут ответственность за предоставленную в статьях точку зрения.

ЕГУ выражает глубокую признательность за помощь и финансовую поддержку проекта
Корпорации Карнеги, Нью-Йорк.

СОДЕРЖАНИЕ

Эва Томпсон

ИМПЕРСКОЕ ЗНАНИЕ: РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КОЛОНИАЛИЗМ*

Предметом этого исследования является присутствие в русском культурном дискурсе имперского статуса России. Долгое время этот феномен оставался незамеченным из-за отсутствия интеллектуальных традиций его опознания. Читатель западной литературы имеет повышенную чувствительность к наличию в ней замаскированного присутствия власти, а относительно русской литературы подобной чувствительности не было выработано. Антиколониальный дискурс в колониях западных стран и среди западных интеллектуалов со временем становился все более выразительным, но Россия с подобной перспективы не рассматривалась, так как считалось, что русский империализм остался в докоммунистическом прошлом. В кругозоре постколониального внимания оказывались лишь те западные колонии, которые получали поддержку от коммунистической России, но не сама колониальная практика царской и советской власти. После распада Советского Союза радость от падения тирании заглушила все остальные чувства, и поэтому наследие русского колониализма в русской литературе снова выпало из поля зрения критиков. Многочисленные издания и журналы продолжали формировать в сознании западных читателей неколониальный образ русской культуры. Эта книга противопоставляется доминирующей тенденции всех подобных произведений и текстов.

На то, что Россия преимущественно не воспринималась как колониальное государство, влиял также и ряд других причин. Одна из них – география колоний России. В постколониальной теории и критике обычно считается, что колонии находятся далеко от метрополии и что их завоевание требует заморских

* Фрагмент книги «Imperial Knowledge: Russian Literature and Colonialism». Greenwood Press.

походов. В случае с Россией колонии граничили с этнически русскими* землями. Трансформация Российской империи в Советский Союз еще больше замаскировала колониальную природу государства, в котором доминировали русские. Его территория увеличивалась за счет войн, аннексий и дипломатических маневров, которые не слишком отличались от заморских предприятий западноевропейских государств. Однако близость колоний к этническим русским землям затемнила природу взаимоотношений между метрополией и колониальной периферией, которая в наше время начала добиваться суверенитета и утверждения собственной идентичности.

С территориальной неопределенностью связана и лингвистическая. Английскими словами «Russia» и «Russian» переводится более десятка русских слов и выражений. В русском языке есть слово *Россия* в значении русский народ или государство (этому слову придала вес «История» Карамзина). Но есть также и более древнее слово *Русь*, государство, которое существовало до монгольского нашествия в XIII в. и центром которого был Киев. Слово *Русь* иногда используется как метафора, которая охватывает всех восточных славян (русских, белорусов и украинцев), но иногда им называют только украинцев и белорусов. В последнем случае оно соответствует старому английскому слову «Ruthenia» (Рутения), которое обозначает современные Беларусь и Украину, взятые вместе, но не «Muscovy» (Московию), то есть Россию.

* Здесь и далее определение «русский» (напр., русские земли, русский язык, русский народ и т.д.) используется достаточно условно: в соответствии с современным (а не историческим) смыслом этого слова – т.е. *русский* как имеющий отношение к *русским*, к титульной национальности России. Поэтому под выражением «этнические русские земли» в данной работе понимаются лишь те земли, которые принадлежали Московскому государству. В этом случае слово *русский* (в современном употреблении) соответствует слову *московский* в его историческом значении, когда было *Московское государство*, жителями которого были *московцы*.

Вместе с тем в переводе используется словосочетание *русская империя* (исключая случаи, когда имеется в виду именно государство – Российская империя). С одной стороны, можно было бы все время использовать понятие *Российская империя*, но в соответствии с основной мыслью текста имперский характер русской власти не исчез тогда, когда государство под названием *Российская империя* прекратило свое существование. То есть понятие *русская империя* употребляется как название феномена, а не как название государства, а поэтому оно гораздо шире понятия *Российская империя*. С другой стороны, если мы соглашаемся на употребление слова *русский* в его современном значении, то выражение *русская империя* позволяет точнее передать суть империи, в которой доминировали русские и которым она, по сути, принадлежала.

В то же время исторически правильнее было бы вообще использовать название *Московская империя*, что указывало бы на корни данной империи – Московское государство и в некоторой степени позволяло бы избегать спекуляций с историческим содержанием слова *русский*. Возможно, в будущем русский язык вернется к своему прежнему (использовавшемуся до XVII–XVIII вв.) названию – *московский,* и именно от этого корня будут образовываться слова, относящиеся к данному государству и народу.

Таким образом, перевод слова *Русь* как «Russia» (Россия) редко бывает корректным, но именно так его в основном переводят американские историки. Кроме того, существует понятие «Московское государство», которое раньше переводилось на английский язык как «Muscovy». Оно относится к государству с центром в Москве, возникшему в XIV ст. после монгольского нашествия. Это государство стремилось к расширению за счет чужих территорий (что не было свойственно Киевской Руси) и, не останавливаясь, захватывало земли соседей, пока его экспансия не оборвалась в 1991 г. (время распада СССР). Важно помнить, что до XVII ст. Московия не называла себя Россией, а официально это название стало использоваться только в XVIII ст. Кроме того, как недавно отметил в своей содержательной статье Эдвард Кинан (Edward Keenan), Московия не считала, что она является продолжением Киевской Руси[1]. Нет никаких признаков того, что Иван Грозный или его предшественники хоть когда-нибудь рассматривали Украину или Беларусь (которые тогда находились под польско-литовским правлением) как родину московитов. Таким образом, понятие «воссоединения» трех восточнославянских народов, которое пропагандировали русские* идеологи XVIII ст., было изобретено лишь в конце XVII в., а раньше ему не было места в самосознании государства. Московия целиком поглотила Украину и Беларусь не потому, что жаждала воссоединения (его не могло быть, поскольку никогда не было объединения), а потому, что она расширяла свои территории во всех направлениях.

Соответственно, англичанин Джайлз Флетчер (Giles Fletcher), живший в XVI ст., был послом в Московии, а не в России, и так он называет это государство в своей книге «Of the Russe Commonwealth» (1588). Но для большинства историков XX в., которые изучали этот регион, его Московия и созданная позже *Российская империя* (царская империя, в которой доминировали русские) – одинаково называются «Russia». Универсальное использование этого названия уводит наше внимание от колониального способа добывания земель Московией. В то время как *Русь* не была колониальным государством, *Московское государство* стремилось им быть, как и Россия во время правления царей (иными словами – *Российская империя*). Англичане не называют Индию «Англией»; колонии и доминионы имеют собственные определения, поэтому название «Объединенное Королевство» признает идентичность «внутренних колоний» английской короны. А в мире экспансии Московии и государства, которое стало ее преемником, – то есть *Российской империи* – такие территории, как Дагестан, Эстония, Украина или Татарстан, стали называть «Россией» вопреки их демографическим и историческим реалиям. Перефразируя Кинана, можно сказать, что с точки зрения культуролога эта лингвистическая экспансия является одной из величайших мистификаций европейской истории.

Прилагательное *русский* может касаться *России*, *Руси* или *Московского государства*. И в каждом из этих случаев оно имеет разное значение. Но к еще большей

* Имеются в виду, безусловно, русские идеологи не по происхождению, а те, кто работал на продуцирование и функционирование русского [имперского] дискурса.

путанице привело то, что в XVIII ст. начало использоваться прилагательное *российский* как производное от слова *Россия*, которая на тот момент уже была империей. Слово *российский* употреблялось как синоним слову *русский* даже в официальных речах, правда, Екатерина Великая поощряла его употребление лишь в отношении не-русских народов империи. То есть слово *русский* относилось только к русским, тогда как *российский* – как к русским, так и к остальным подданным империи (отсюда и название *Российская империя* или, в постсоветский период, *Российская Федерация*). В современном русском языке слово *российский*, как и прежде, касается русских *и* тех народов Российской Федерации, которые ими не являются, а слово *русский* – только собственно русских. Однако оба эти слова переводятся на английский язык как «Russian». И хотя они имеют одинаковую этимологию, но слово *российский* латентно обозначает как бы «не совсем» русских (русских в процессе становления); лиц, которые тем или иным образом лишь связаны с Россией. Колониальная сущность империи, таким образом, маскируется с помощью лингвистических манипуляций. Кстати, в советской России были попытки объединить эти два понятия через объявление слова *российский* архаичной формой слова *русский*[2].

Рассказ Ивана Бунина «Аглая» является одним из многочисленных литературных произведений, способствующих унификации различных обозначений России в сознании как своих, так и иностранных читателей. Деревенская девушка Катерина объясняет младшей сестре русскую историю, которую она изучала, когда была в женском монастыре. Центральным местом этой истории является грустный рассказ про то, как «ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобий, от свирепых татарских орд и от прочих господних кар...»[3] Объединение понятий Русь и Московия в этом, в общем, симпатичном рассказе, а также горестные жалобы на тяжелую судьбу (жалобы, которые могут казаться преувеличением для такой успешной страны, как Россия) являются неотъемлемой частью русской политической культуры. Следует также отметить, что во время написания этого произведения «дикие татарские орды» уже давно принадлежали русской империи; сохранение памяти об их былых зверствах не способствовало примирению с татарами как с русскими подданными.

Такое разнообразие в значении слов, которые переводятся на английский язык только как «Russia» и «Russian», приводит к слиянию понятий имперской экспансивности и национальной идентичности (если воспользоваться выражением писателя Евгения Анисимова). Он признал, что для русских «СССР», как правило, обозначает «Россия». Когда вице-президент Академии наук СССР Евгений Велихов услышал об изменении ее названия (вместо советской она стала называться российской), то сказал: «по сути, она всегда была русской академией наук»[4]. Символично смотрится титульный лист журнала «Наша Россия» (№ 11/35, 1992), на котором написан слоган: «*Русь – Россия – СССР – Наша великая Родина*».

Выпуск журнала «Огонек» за июль 1995 г. (№29/4408) содержит редакционную статью, написанную главным редактором журнала Львом Гущиным, где он употребляет слово *великороссы*, которое возникло в XVIII в. Это слово содержит прилагательное «великий», как в советском национальном гимне – *великая Русь,* или Великая Россия. Прежде всего оно обозначает географическое положение, однако основной смысл связан с исключительностью русского человека, особенно если учитывать, что употребляются также его антонимы *малороссы* и *белороссы* (которым обозначают украинцев и белорусов). Эти семантически манипулятивные слова формируют представление, что только россияне являются действительно «великими русскими», а украинцы и белорусы всего лишь «малыми русскими» и «белыми русскими» соответственно.

Почему эти отличия важны? Потому что пренебрежение ими означает поддержку русского колониализма, действия которого были направлены на лишение народов и этнических групп собственных названий. Так же как ирландцы не «англичане», хотя и включены в Британскую империю, башкиры и дагестанцы не являются «русскими», несмотря на то что живут в Российской Федерации. Ни один из европейских языков, за исключением славянских, не отличает значений слов *русский* и *российский*, как и слов *Русь*, *Россия* и *Московское государство*. (Чтобы избежать путаницы, которую создают такие переводы на английский язык [в английском оригинале], я буду брать слово «Russian» в кавычки тогда, когда оно обозначает *российский*, а не *русский* – например, «Russian» Federation.)

Еще одна характерная особенность русского империализма, которая дает ему возможность избегать постколониальной таксономии, связана с распределением власти и знания между метрополией и периферией. Для западного колониализма характерно концентрирование власти и знания в метрополии, и именно на этом базировались его претензии на доминирование. А вот русское колониальное правление преимущественно опиралось лишь на власть, а не на объединение власти и знания. Поэтому народы, которые жили у западной и юго-западной окраины русской империи, воспринимали себя в цивилизационном плане даже выше метрополии. Их психология как покоренных народов отличалась от психологии народов колониальной Британии. Индусы могли относиться к британцам как к врагам, но, пускай и неохотно, признавали их цивилизационное лидерство.

Современный чешский писатель Милан Кундера (как и эстонский – Яан Кросс) приводит многочисленные примеры тому, как во времена русского правления их народы свысока относились к колонизаторам[5]. В некоторых республиках русской (и советской) империи существовала уникальная ситуация, когда на империалиста смотрели сверху вниз те, на кого была направлена его власть. Понимание русской цивилизационной отсталости было в XIX в. настолько распространенным, что даже такие друзья России, как барон Август фон Гакстгаузен (August von Haxthausen), который путешествовал по России за деньги царя Николая I, заметил: «[Западные] страны, покоренные Россией, имеют по большей части культуру, высшую по срав-

нению с культурой их завоевателя». Он имел в виду Финляндию, Балтийские провинции, Польшу и Грузию[6]. Другой стороной медали была русская озлобленность (ressentiment) по отношению к колонизированным, которые не воспринимали русских с достаточным уважением, и это чувство выражалось в жестоком поведении по отношению к «этим западникам». Попытки в русской литературе уменьшить роль и удержать в узде непокорных «западников» принадлежат к особой категории враждебного отношения к Другому. Достоевский вывел уничижающие портреты поляков в «Братьях Карамазовых», а Пушкин и Тютчев заняли по отношению к ним позиции оскорбленного превосходства. Менее значительные писатели действовали еще более оскорбительно. В стихотворении, опубликованном в газете «Правда» 18 сентября 1939 г. вскоре после инвазии в Польшу нацистских и советских войск, советский русский поэт Николай Асеев злорадствовал по поводу польского поражения следующим образом: «От Польши осталась самая малость... / Они не любили повадок наших, / Вельможный кривили рот». Вывод таков, что теперь они получили то, что заслужили[7].

Тогда как западный империализм был в определенной степени объединяющим, русский империализм оказался явно центробежным. Англичане сначала ввели на Британских островах свой язык, а потом сделали его lingua franca мира. Москва не достигла успеха в создании единой жизнеспособной культурной общности для территорий, наций и племен, доминионом которых она себя провозглашала в течение десятилетий, а в некоторых случаях и столетий. Разномерный дискурс территорий от Средней Азии до Центральной Европы был напряжен тем, что Сэмюэль Хантингтон (Samuel Huntington) называл столкновением цивилизаций. Британская империя также не была однородной. На землях, которыми владели англичане, жили враждующие цивилизации (в том значении, в котором этот термин употреблял Хантингтон), но многие из них сохранили английский язык и после колониального периода. Русский язык не имел такой силы. Даже там, где некоторые колонии усвоили русский язык, они не приняли русскую национальность (проводя параллель с Ирландией); в 1990-х началось активное возвращение к родному языку (так же как и отказ от кириллического алфавита, введенного Советами). Похоже, что не только степень разнообразия и размеры империи помешали успешной русификации, проводимой метрополией, но и характер самой русской имперской системы.

Может быть, русский империализм потерпел неудачу потому, что слишком долго, по сравнению с западными колонизаторами, держался на солдатах и оружии, которых не удалось заменить идеями. Всюду поддерживая русскую культуру, он делал это, демонстрируя превосходство России, что было унизительно для колонизированного. Западный империализм предложил национальным элитам изобилие европейских интеллектуальных традиций, поэтому постколониальные исследования появились одновременно и в западных университетах, и в колонизированных странах. Правда, иногда слышались предостерегающие голоса, выражающие беспокойство, что метрополия оказалась в зоне культурного влияния «периферийных»

практик[8]. И хотя эти опасения оказались преувеличенными, но западные эпистемологические и социальные системы вынуждены были признать определенные противоречия между высокими идеалами метрополии и суровой реальностью колониального насилия на периферии. В отличие от западного, русский империализм был слишком неуверенным в себе, он заботился лишь о промоции русской культуры, но в ситуации эпистемологической нищеты не мог продуцировать идеи в культурные сферы колонизированных территорий. Тогда как Индия переняла британскую демократическую систему, британское образование и в значительной степени английский язык, не-русские в пределах былой советской империи прилагали все усилия в 1990-х для того, чтобы удалить у себя следы «русскости», настолько отвратительной казалась им шовинистическая промоция колонизатора.

Русский язык, на котором раньше разговаривали на территории империи, вытесняется родными языками во всех странах, кроме Беларуси. В Украине, где похожесть языков привела к определенным сложностям, в 1990-х систематически предпринимались идеологические усилия избавиться от остатков русскости, и это нельзя считать лишь проявлениями украинского шовинизма. В эти годы в Центральной Европе также наблюдалось резкое снижение интереса ко всему русскому[9]. На Втором Всемирном конгрессе татар, которой прошел в Казани в 1997 г., Республика Татарстан (этническая республика в составе Российской Федерации) утвердила латинский алфавит для татарского языка[10]. Такой лингвистический сепаратизм говорит о том, что на протяжении более чем четырех столетий подчинения татарских ханств России татарская и русская культурные элиты жили своими отдельными жизнями[11]. В Центральной Азии возвращение к тюркским корням было заторможено по экономическим соображениям. Кавказ покорен русской военной силой, но Грузия и Армения отстояли превосходство своих родных языков над русским даже во времена коммунизма (и при этом защитили свои некириллические алфавиты). Возможно, наиболее существенное сужение сферы употребления русского языка произошло в Литве, где кириллица практически исчезла из публичного пространства. В Западной Европе и Соединенных Штатах также имеет место резкое сокращение изучения русского языка и снижение внимания ко всему русскому; это является дополнительным подтверждением того, что интерес к русской культуре в мире не в малой степени базировался на почтении к советским вооруженным силам[12].

Эдвард Саид заметил, что объединяющая сила западной культуры сплотила Запад и его былые колонии в единую культурную сферу с общими стремлениями и позициями. На постсоветском Востоке имел место обратный процесс. Расширение НАТО является, наверное, самым ярким примером дезинтеграционной силы русско-советской империи. Немногие страны так же сильно хотели присоединиться к НАТО, как те, которые были в русской сфере влияния. Не-русские советские спешили показать миру, что они *не* Россия, что они отличаются от России. Как отметил Пол Гобл (Paul Goble), похоже, что каждый следующий кризис в Российской Федерации

все больше отдаляет от нее когда-то советские республики и поэтому Содружество Независимых Государств становится все менее жизнеспособным[13].

Поэтому модели построения нации, описанные Майклом Гехтером (Michael Hechter) относительно колоний Запада, не могут применяться к русским доминионам. Первая модель Гехтера (модель диффузии) предусматривает распространение власти и знания от метрополии к периферии, а вторая основывается на феномене внутреннего колониализма, который часто играет важную роль в развитии народов[14]. Модель диффузии предполагает, что сильная социальная группа притягивает остальные при помощи социального осмоса, ее язык и традиции в конечном итоге принимаются более слабой группой. Подобным образом экономические порядки более сильных групп распространяются от одной территории до другой (хоть Гехтер и признает, что в реальности диффузия кажется «чем-то мистическим»). Но разделение труда нивелирует различия между метрополией и периферией, в результате чего и формируется единая нация. Согласно модели внутреннего колониализма, культура метрополии не спешит отказываться от своего доминирующего статуса, что приводит к эксплуатации периферии и отрицает всякую возможность равенства. «Подчиненное общество приговорено к инструментальной роли по отношению к метрополии»[15].

Ни одна из этих двух моделей не может быть вполне применима к русскому колониализму. Хотя формально русская историография вроде бы опиралась на первую модель (диффузии), когда утверждала, что народы и государства, присоединяясь к России, добровольно вступали в российскую семью народов. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно, что это утверждение не правдиво. Даже Грузия (любимый пример русских историографов) не хотела присоединяться к России – она договаривалась о защите от турков, а не об инкорпорации в русскую империю. Известное выражение Солженицына, что [царская] «Россия... не знала вооруженного сепаратистского движения» и «[трудовых] лагерей», является фантазией, не достойной великого писателя[16]. Так же как и в случае с другими империями, практически все не-русские территории, которые становились частью царской империи, а затем Советского Союза, были присоединены с помощью военной силы или дипломатического давления. Что же касается модели внутреннего колониализма, то она базируется на схеме, в которой метрополия экономически и культурно более развита по сравнению с периферией. Как говорилось выше, эта схема не работает в отношении западных и юго-западных окраин Российской империи.

Доминирующее правило сопротивления ассимиляции и отторжения от собственно русского дискурса имеет некоторые исключения. Угро-финское население, которое проживало в северо-западной России, было в значительной степени ассимилировано уже в конце XIX в., определенный процент тюркского населения на южных и восточных землях империи также находил себя в границах русской культурной идентичности[17]. В повести Андрея Белого «Петербург» (1916) один из ее героев, сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов, предстает русифицированным

и христианизированным потомком мирзы из киргизских степей, о чем свидетельствуют его фамилия и внешность. Сенатор – человек культурно русский, несмотря на примесь «азиатских черт», которые для Андрея Белого являются таинственной и повсеместной составляющей русской культуры.

В общем русские охотно принимали национальные элиты, если те соглашались на утрату своей культурной идентичности и русификацию (правда, это общее положение не отрицало определенной снисходительности относительно «не-белых»). В отличие от азиатских и африканских интеллектуалов, которые осознавали, что западные колониальные хозяева смотрят на них свысока, жители Центральной и Восточной Европы в России встречались с распростертыми объятиями, если они принимали лингвистическую и культурную идентичность русских. Нельзя отрицать радушие, с которым русские приветствовали отказ от немецкой, польской, украинской, литовской, латышской или эстонской наций в пользу их собственной. Этих перебежчиков не только принимали как русских (что невозможно представить себе в случае с англичанами относительно индусов), но и принимали с благодарностью. В качестве примера можно привести журналиста Фаддея Булгарина, генерала Г.К. фон Штакельберга, государственного деятеля С.Ю. Витте, поэтов Владислава Ходасевича и Ирину Ратушинскую, писателя Николая Гоголя и политического обозревателя Отто Лациса.

Однако на протяжении всего существования империи население, которое не идентифицировало себя с русской метрополией, составляло примерно 50%. Среди остальных определенная часть называла себя русскими ради собственной корысти; когда же быть русским переставало быть выгодным, они меняли свою идентичность. Подчиненные народы были слишком многочисленными и отдаленными географически, чтобы их можно было быстро русифицировать, а многие из них и не желали этого. Одной из причин неудач русских в ассимиляции национальных меньшинств был их чрезвычайный территориальный аппетит; захваченные территории оказались слишком обширными для того, чтобы относительно слабо развитая культура могла их поглотить и сделать своими. Но более всего русской культуре недоставало надежной философской базы, которой у Запада было достаточно и которую он использовал для обоснования своих «цивилизационных» завоеваний. У русских в XIX в. появилось несколько гениальных писателей, которые дали русской литературе место среди величайших литератур мира, но, несмотря на это, философская мысль в России до сих пор остается в зачаточной стадии, что отрицательно влияет на восприятие русской культуры со стороны подчиненных наций. А в XX в. ситуацию ухудшило еще то, что Лешек Колаковски (Leszek Kołakowski) назвал магическим мышлением советского марксизма[18]. Короче говоря, России недоставало авторитета, который может обеспечить только культура, чтобы получить признание среди колонизированных народов.

Все эти трудно различимые связи власти выпали из внимания большинства западных исследователей России, хотя им хорошо известна методология ориен-

тализма, которая вскрывает у власти Запада позиционный приоритет над периферией как сферой политически и культурно более низкой. Именно подобная таксономия была перенесена на Россию и ее доминионы. Например, Джордж Кеннан (George Kennan) в своих геополитических размышлениях не однажды давал понять, что колонии русской империи находились на более низком уровне в политическом *и* культурном отношении. Его сопротивление расширению НАТО в Центральной Европе – он представлял меньшинство американских политиков – базировалось на классических посылках ориентализма[19]. Кеннан считал, что Россия имела законное право политически доминировать в Центральной и Восточной Европе из соображений собственной безопасности. Этот аргумент очень похож на те, что выдвигали британские и французские колонизаторы, для которых наличие колоний было необходимым условием сохранения величия Британии или Франции. В дебатах о расширении НАТО (США, 1997 г.) большую роль сыграли колониальные взгляды ученых и государственных деятелей, которые признавали право России на военное господство над не-русскими территориями и народами. За некоторыми исключениями, мысль о политическом и культурном превосходстве России по отношению к Восточной и Центральной Европе все еще доминирует в американском академическом дискурсе и является одной из основных предпосылок перцепции, в соответствии с которой утверждение «Россия прежде всего» для значительного количества ученых-славистов в Соединенных Штатах остается непреложным на протяжении последних поколений[20]. И это происходит несмотря на то, что список поддерживающих расширение НАТО в Центрально-Восточной Европе читается как «Who's Who» в американской дипломатии. Привилегированное положение России в публикациях и политике таких организаций, как Американская ассоциация поддержки славистических исследований и Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков, можно увидеть уже в содержании их журналов и в названиях секций конференций: в обоих случаях Россия трактуется так, как будто она является единственным объектом, достойным серьезного и взвешенного анализа и комментария. А периферия воспринимается лишь как пользователь интеллектуального богатства, накопленного в Москве и Санкт-Петербурге. Имперское существо России по-прежнему не критически воспринимается академическим миром, несмотря на то что постколониальный дискурс уже в значительной мере изменил самоинтерпретацию западных имперских сил.

Имидж современной России, замороженный в стадии имперского величия XIX в., привел к лигитимации тона скромной невинности, который пронизывает значительную часть русской литературы – от Гоголя и Достоевского до Распутина и Солженицына (хотя в западном дискурсе сейчас обычным является самоосознание колониальных проступков). Эта невинная модель, выработанная прочтением русской литературы как на Западе, так и в самой России, маскирует колониальную эксплуатацию и усиливает в русском культурном дискурсе некритичное самовосприятие, которое иногда ошибочно принимают за психологическую глубину. Фантом

национального величия, которое базировалось на колониальной гегемонии, имел место не только в России, но также в Великобритании, Франции и США, однако там он теперь развеялся и стала отчетливо видна темная сущность угнетения и дискриминации Другого. Этого не случилось в России – ни политически, ни культурно. Как сказал Ричард Пайпс (Richard Pipes) в 1997 г: «Модифицированная доктрина Брежнева все еще жива. Деколонизация проходит нерешительно»[21]. Питер Форд (Peter Ford) отметил, что «в основе отношения России к ее бывшим колониям лежит общее глубокое убеждение, что она оказывала на них позитивное влияние, которое радушно принимали народы Кавказа, Центральной Азии и Восточной Европы»[22].

В отличие от колоний Запада, которые все активнее заявляют о своих правах перед бывшими хозяевами, колонии России в своем большинстве пребывают в молчании, иногда из-за нехватки национальных элит, получивших образование на Западе, и всегда из-за отсутствия поддержки западных академических кругов при исследовании проблем, приоритетных для этих народов. Их и далее воспринимают в парадигме, связанной с Россией, и скорее как объекты русского восприятия, чем как субъектов, говорящих о собственной истории, позиции и интересах. Джордж Кеннан продолжает употреблять термин «русские», рассуждая о советской политике и о том, что Российская Федерация должна была бы делать в будущем. Такой подход к проблеме означает, что не-русские не только не принимаются в расчет, но они и *не должны* приниматься[23].

Народы, над которыми была установлена гегемония, структурировали свои дискурсы скорее вокруг проблем иностранного угнетения и борьбы за освобождение от него, чем вокруг достижения менее явной, но более эффективной победы, которую могли дать постколониальные дискурсы и их перспективы. Остается непонятным, были ли постколониальные дискурсы уничтожены цензурою и угрозами (что, безусловно, постоянно присутствовало в русской культурной политике) в своем зарождении или же пересмотр проблем колониализма оказался невозможен по причине интеллектуальной бедности, распространенной на территории, где господствовали русские. Запад интерпретировал отсутствие постколониального дискурса в соответствии с правилом, что если нет дискурса, то нет и проблемы. Как убедительно показали постколониальные писатели, тех, кто представлен в литературе не самостоятельно, а через кого-то, неминуемо ожидает понижение статуса. Пока ориентированные на Запад субъекты русской и советской империи тратили свою энергию на сопротивление русификации и советизации, Советы достигли в публикациях на русском языке ощутимых результатов в формировании негативных стереотипов об этих непокорных субъектах своей империи. Распространение подобных материалов на Западе было соизмеримо с военным и политичным влиянием советской империи. Вопрос формирования стереотипов подобного рода еще ожидает тщательного изучения.

В связи с этим некорректным оказывается утверждение постколониальных комментаторов, что история – это «дискурс, через который Запад утвердил свою

гегемонию над остальной частью мира»[24]. Мир никогда не был поделен на две равные части – Запад и не-Запад. Такая бинарная оппозиция пренебрегает фактом, что Россия прилагала огромные усилия для создания своей собственной истории, которая, с одной стороны, частично противоречила истории, написанной Западом, а с другой стороны, истории, которая формировалась усилиями тех, кого Россия колонизировала. При этом России удалось успешно накладывать части своего исторического дискурса на дискурс, созданный Западом, смешивать их или подавать собственное мнение в форме вроде бы общепринятых комментариев и утверждений. Вход в западный дискурс через боковые двери укреплял невидимое присутствие в нем России как третьей стороны.

Россию иногда воспринимают как «кузину» Запада: этому способствуют былые династические связи между Романовыми и Виндзорами, а также подобные связи с Западом иных древних родов России. Поэтому интерпретации, посылки и характеристики из дискурса русской истории (и связанные с этим предрасположенности, симпатии, влияния) в такой огромной степени использовались западной культурой, что за их совокупностью русское агрессивное самоутверждение сделалось почти невидимым. Только тот факт, что даже в постколониальные времена в западных университетах практически отсутствует русский империализм как предмет изучения, свидетельствует о степени риторического успеха, которого достигла Россия. Поэтому Центральная и Восточная Европа, Сибирь, Средняя Азия и земли на берегах Черного и Каспийского морей являются, по сути, белыми пятнами на постколониальной карте мира, а их географию и культуру относят к «Российской империи», «Советскому Союзу», «советскому блоку» или «российской сфере влияния». Ведущий американский советолог из Принстонского университета Стивен Коен (Stephen Cohen) стал известен своим высказыванием о том, что Михаил Горбачев самовластно организовал радикальные изменения в России *и* Восточной Европе. Поэтому Россия должна восстановить свое влияние в регионах, которые вынужденно покинула, что в конце концов она и сделает[25]. Оскорбительные выдумки о том, что русские доминионы остались под властью Москвы добровольно, консервируются в таких выражениях, как «страны Варшавского договора», «коммунистические страны», «Россия и ее многочисленные национальности». Постколониальные исследователи уже давно выявили все основные противоречия «Британского содружества», а вот относительно России подобный процесс еще даже не начался. Определенную роль здесь сыграло и наличие частичного согласия колонизированных народов на колониализацию, как это имело место и в колониях Запада в XIX в.[26]

В отличие от колониальных государств Запада, которые гарантировали своим титульным национальностям политические и экономические свободы, Россия получила доступ в круг европейских империй, имея социальную систему, которая привилегировала русскую культуру, но не российских граждан. При отсутствии социальных свобод в европейском смысле русские интеллектуалы постоянно нарекали, что их положение в империи не лучше, нежели у подчиненных народов.

Эти жалобы пережили советскую эпоху, и их красноречиво подтверждает высказывание Александра Солженицына, которое мы приводили выше. Ситуация одинакового бесправия российских граждан и сегодня помогает метрополии не чувствовать своей вины по отношению к периферии. Ирония заключается в том, что диссидент Солженицын нашел большую и готовую его слушать аудиторию на Западе лишь потому, что Россия была огромной военной и риторической империей. Многие люди до него пытались привлечь внимание Запада к феномену ГУЛАГа, но они не были вооружены имперским авторитетом и поэтому им не удалось произвести должного впечатления[27]. Особое отношение к нему осталось не замеченным и самим Солженицыным, и его толкователями – это всего лишь один из множества примеров признания особых прав метрополии и притеснения периферии.

В практике империи ретуширование картин реальности для повышения собственного престижа иногда приобретает комические размеры. В журнале «Огонек» за 18 мая 1998 г. содержится статья о европейском зубре. В ней читателям сообщается, что зубры являются родственниками вымерших мамонтов и что последний зубр в Беловежской пуще, расположенной на польско-белорусской границе, был убит в 1919 г. Однако, продолжает автор, совсем иная картина наблюдается в лесах России, где сохранилось много зубров. Затем в статье подробно описывается их перемещение из лесов вблизи реки Ока в леса Рязанской области.

То, что «Огонек», рассчитанный на широкую аудиторию, занимает своего читателя историей о зубрах, выглядит вполне естественно. Но статья, которая на первый взгляд кажется далекой от колониальной проблематики, на самом деле демонстрирует превосходство метрополии над окраиной через недостоверную информацию. К тому же здесь подчеркивается неспособность периферии управлять своими национальными парками и преимущества, пускай только и в охране зубров, имперского центра. На самом деле зубры в Беловежской пуще живы и здоровы: в 1980 г. их было 593, а в 1994 – 662[28].

Вот подоплека этой истории. Национальный парк Беловежская пуща является сегодня одним из немногих в Европе, где еще сохранились непроходимые леса. В отличие от лесов Рязанской области Беловежская пуща славилась своими зубрами на протяжении столетий. Поэтому, унаследовав разоренную пущу после Первой мировой войны, правительство Второй Речи Посполитой восполнило утраченных зубров животными из польских зоопарков, и с того времени они стали основной ее достопримечательностью. Местные лесники тщательно их охраняют[29]. Статья в «Огоньке» незаметно подводит читателя к мысли, что Беловежская пуща, в отличие от лесов Рязанской области, находится в экологическом запустении. Как это часто бывает в дискурсе имперского мышления, способность метрополии делать все лучше, чем периферия, зашифрована даже в развлекательном очерке. Как показывает Дэвид Кэннэдайн (David Cannadine), одной из колониальных практик было прописывание превосходств империи в материалах, которые не имеют отношения к политическим проблемам. Европейские империи XIX в. использовали эту практику

в огромных масштабах[30]. В европейском колониальном дискурсе на выстраивание престижа метрополии работали не зубры, а флаги, парады, школы, мосты, правительства, философия и социальные структуры. Значительная часть перечисленного отсутствует в русской колониальной традиции, и поэтому ей требовались какие-то иные субституты, которые могли бы выстраивать репутацию России как дома, так и за границей. Статью о зубрах следует рассматривать как раз в таком контексте. Версия событий, которую подает «Огонек», является типичным стабилизационным методом, который должен поддерживать превосходство русских. Утверждения и внушения подобного рода, вписанные в массовую культуру, должны формировать ощущение, что Россия все делает лучше, чем ее соседи. Тривиальная проблема зубров замечательно демонстрирует механизм этой процедуры. Постколониальная теория называет такие практики *терминологическим присвоением* одной культуры другой.

Правда, Запад никогда подобным образом не присваивал Россию. Хотя попытки определить место России в западном дискурсе делались в XVI и XVII вв., когда английские путешественники и послы в Московии писали о «невежественном и варварском королевстве»[31]. Но по мере усиления Московии и становления ее как русской империи эти попытки прекратились, особенно после громких военных побед России. Иными словами, Запад никогда не стремился завоевать Россию таким же образом, каким завоевал большую часть мира. Более того, Россия сама выявилась захватчиком относительно Запада, сначала стеснительным и культурно неуверенным в себе, а затем, по мере стремительного роста захваченных территорий и увеличения могущества армии, все более и боле самонадеянным.

Таким образом, сопоставление в рамках постколониальной теории концептов Ориента и Оксидента показывает скрытые культурные пространства, которые Оксидент не смог присвоить. Московия была на грани такого присвоения, но уже империя Петра и Екатерины Великой выскользнула из дефиниций, навязанных Западом остальной части мира. Россия вплотную приблизилась к Оксиденту, когда тот поглотил ее западных соседей в 1795 г. Тогда пришло время династических и других союзов, в результате чего (после грандиозного удовлетворения колониальных аппетитов) нецивилизованная Московия превратилась в величественную и таинственную Россию. Замужество родственников королевы Виктории с кем-то из царствующей индийской или африканской семьи было абсолютно невозможным, а вот русская элита для этого вполне подходила уже хотя б потому, что имела белый цвет кожи. Екатерина Великая была этнической немкою, рожденной в немецком княжестве, но приняла православие и научилась говорить по-русски (хотя и плохо) – подобная метаморфоза была бы невозможной при ином цвете кожи. К концу XVIII в. Россия заняла место за общим европейским столом. Династические союзы ее правителей и дипломатические успехи в сфере международной деятельности определили новую форму отношений с Оксидентом. Шаг за шагом Россия начала вписываться в мировую историю не как страна третьего мира или часть от-

даленного Ориента, по отношению к которому можно было бы допустить позицию превосходства, но скорее как великая и могущественная, почти равная западным империям держава, у которой имелся собственный аппарат оценки Другого (небелого азиатского населения). Россия не стала для европейских завоевателей проблемой. Они даже не стремились опорочить тот образ России, который сформировали писатели Просвещения, такие как Вольтер, или сама Екатерина Великая. На сломе XIX в. образ России, зафиксированный в памяти Запада, был очень далеким от упомянутого когда-то британскими морскими путешественниками – «невежественного и варварского королевства».

Это было серьезное изменение. Когда Россия вошла в западный дискурс почти на равных, ее статус как колониальной державы сделался еще менее заметным. Превращение России из отсталого Другого в «почти одного из нас» не слишком озаботил западное сознание, занятое в то время вопросами индустриального развития и собственной колониальной экспансии. Однако важность этого изменения понималась русскими элитами, обеспокоенными тем, что восприятие России в Европе ненадежно балансировало между старым образом, восходящим к тем временам, когда московиты классифицировались как варвары, и ее новым образом, который частично обеспечивал равенство с передовыми странами Европы. Русские элиты получали образование, которое внешне соответствовало европейской модели, и хотя количественно элита составляла меньше процента от всего населения, ее голос был решающим. Как говорил Александр Пушкин, они все учились чему-нибудь и как-нибудь, читали Адама Смита и вызубрили латинский алфавит в достаточной степени, чтобы написать vale в конце письма. Огромным усилием в России были созданы школы, научные общества, театры, министерства и другие культурные и общественные институции, имитирующие западные модели. Некоторые из этих институций, такие как Большой театр и музей «Эрмитаж», оказались очень эффективными для трансформации России в одного-из-нас, а также для стирания ее образа как не-западной державы. Великолепная новая литература продолжала переопределять Россию для Запада, вытесняя представление о ней как о неотесанной и неграмотной стране. Голос этой новой России заглушал голоса тех, кто указывал на ее неизменно репрессивную сущность: недовольные покоренные народы, оказавшиеся на задворках Европы; разного рода политические диссиденты, которые умирали в тюрьмах Сибири после того, как должным образом потрудились на благо империи; случайные путешественники, такие как маркиз де Кюстин (de Custine) или Йозеф де Мэстр (Joseph de Maistre), который в конце своего пребывания в Санкт-Петербурге понял, что Россия переполнена потемкинскими деревнями. Русские писатели выполнили задачу вытеснения несогласных голосов, Запад посчитал Россию одним-из-нас и вычеркнул ее из списка колониальных империй, которые подвергались реконцептуализирующей переоценке.

Конечно, имели место и исключения. Воспоминания о путешествиях в Россию упомянутого выше маркиза де Кюстина, опубликованные в 1839 г., стремились при-

влечь к этой стране пристальный интеллектуальный взгляд Запада. Но хотя книга и приобрела в свое время славу, ей не удалось заметно повлиять на представление западного человека о России[32]. Короче говоря, в отличие от западных, русская империя не породила критического отношения к созданной ею интертекстуальности.

Размышляя о русской культуре, русские интеллектуалы следовали обычным путем колонизаторов. Они обрекали на молчание те культуры, которые были хоть в каком-нибудь смысле соперниками России (своих колонизированных соседей), и в то же время умело сопротивлялись Западу, стремившемуся подчинить весь мир своему культурному языку. Россия сохранила определенную степень независимости в формировании своего собственного образа на Западе, – привилегия, которой были, как правило, лишены остальные мировые культуры. Известная ремарка Уинстона Черчилля о загадочной России означала капитуляцию перед русским культурным текстом, который Запад не смог расшифровать. Поэтому России было позволено существовать в сфере, которую «просвещенный» Запад описывает как загадочную. Такое признание гарантировало России, что в ее определение своего культурного пространства вмешательства не будет. Это признак капитуляции. Абсолютно неимперским образом Черчилль отдал Другому право решать, кем этот Другой должен быть. При таком подходе Другой, конечно, был скорее империей, чем объектом колонизации. Такой добровольный отказ Запада от права на собственную интерпретацию развязал России руки в формировании своего образа так, как это было ей выгодно. Запад был настолько напуган загадочной инаковостью России, что не осмелился подойти к версии ее истории с теми вопросами, которые задавал себе: каковы способы удержания Российской империей Другого? Как империя маскировала свои действия по отношению к Другому? Что в русской истории является на самом деле историей Другого?

На протяжении двух последних столетий русские интеллектуальные элиты помогали правящему классу изобретать риторические решения для сокрытия имперских слабостей и экспансионистской природы государства. Его территория была огромной, но население – нет. Русская культура была привилегированной, однако народы империи не были полностью русифицированы. Начиная с XVIII в. русские элиты были заняты поисками общей почвы, на которой могли бы объединиться все жители этой огромной территории. Одним из следствий этих поисков было введение во внутренний русский дискурс словаря, который способствовал бы укреплению империи, а именно терминов «российский» и «великороссы». Скрытые приемы, одобряющие колониализм, вскрывались и критиковались в большинстве европейских литератур, обеспечивая дополнительные стимулы для деколонизации и создания того здорового *дискомфорта*, с которым стали присматриваться к себе и высокомерные ранее культуры[33]. Этого не случилось с Россией.

Трактовка исторической географии России

Впервые мысль об изучении текстуального выражения русского колониализма у меня появилась, когда я заметила несоответствия между стандартами интерпретации русской литературы, принятыми на факультетах английской и славянской филологии в американских университетах, как и в работе Алана Чу (Allen F. Chew) «Atlas of Russian History: Eleven Centuries of Changing Borders»[34]. Этот «Атлас» показал суть политического образования, географическое и административное развитие которого было беспрецедентным в мировой истории. Московия в XVII в. была темной и сравнительно маловлиятельной державой на окраинах Европы, но уже русская империя, на смену которой позже пришел Советский Союз, стала мировой державой, к тому же провозгласившей себя самой великой страной мира. Трагическая история бесчисленных войн, оккупаций, угроз, несправедливых договоров, аннексий, деклараций и многочисленных измен представилась мне основой для заманчивых исследований становления России, захватывающей деревню за деревней, город за городом, реку за рекой, степь за степью. Монументальные политические трансформации, инициированные русскими, затрагивали людей многих этносов и вероисповеданий (в том числе и самих русских). Позиции и действия подданных этой империи были ограничены местом, которое они занимали в имперской иерархии. Русская литература в этом процессе играла роль посредника. Замечательные герои Толстого и Достоевского, Пушкина и Лермонтова, Тургенева и Чехова, Солженицына и Рыбакова являются частью русского колониального проекта.

История России, как ее преподносит в «Атласе» профессор Чу, это история тотальной и дорогостоящей экспансии на Восток, Запад, Север и Юг. Между XVII и XIX вв. империя расширялась со средней скоростью пятьдесят пять квадратных миль в день. Такая скорость экспансии не позволяла полностью русифицировать аннексированные территории, что делало империю постоянно нестабильной. Более двух столетий, до 1914 г., Россия преимущественно укреплялась за счет внутреннего валового продукта. В 1720 г. Петр I потратил на армию 96% бюджета страны. В XVIII в. каждые сто жителей государства, в котором господствовали русские, содержали троих солдат, тогда как в Западной Европе приблизительно такое же количество граждан были обременены содержанием лишь одного солдата[35]. В XIX в. Россия закрепила свою власть над бывшим Польско-Литовским Содружеством и на Кавказе, но в то же время участвовала в «Большой Игре» за богатства Азии. Военные предприятия России были успешными, однако содержание непропорционально большой армии в корне изменило общественную жизнь России и ее культурный дискурс. Нарратор в повести Льва Толстого «Казаки» (1862) между прочим упоминает о многих случаях, когда казацкие села были переселены на Кавказ, чтобы держать под контролем местное население и обеспечивать базу для дальнейших завоеваний. Подобные перемещения населения происходили вокруг Черного моря, в Балтийском регионе и в Сибири. На экономических жертвах, понесенных русским

народом, держались колониальные завоевания России, и эти мотивы жертвенности весьма часто отображались в русской литературе.

Экспансия России на прилегающие территории была неразрывно связана с бесконечным насилием, которому подвергались как завоеванные, так и завоеватели. Это насилие запечатлелось в имперской общественной и политической памяти, а также в географической таксономии. Достаточно вспомнить, что на протяжении веков слово «Сибирь» ассоциировалось с принудительными трудовыми лагерями. Более того, ненасытный территориальный аппетит России привел к излишкам земли в империи (также в Советском Союзе и в постсоветской России). Михаил Шолохов в «Поднятой целине» (1931) отобразил идеологические проблемы, связанные с избытком земли в условиях советской власти. В царской империи размеры избыточных территорий делали практически невозможной ассимиляцию и власть закона. Осознание земельных излишков постепенно возрастало в русской литературе и давало сюжеты для литературных произведений и мистических интерпретаций географических пространств (так, Достоевский трактовал Сибирь как место для наказания и очищения ради будущего). Возможно, именно это стало причиной представления о России как о слишком обширной и многообразной стране, чтобы ей можно было управлять «рациональным» путем. Россия, таким образом, становится мистической сущностью, которой судьбой предначертано быть *единой* и *неделимой*. С другой стороны, на обширность России также возлагали ответственность за невозможность империи обеспечить своим гражданам жизненный уровень, который превалировал в метрополиях европейских империй. Почти всегда в истории России на всей ее территории от пригородов Москвы до Владивостока люди существовали на грани выживания.

При обычном прочтении великих произведений русской литературы все эти проблемы почти не заметны. Опыт персонажей здесь оценивается в терминах общечеловеческого опыта, с искусно скрываемыми элементами империализма. Интерпретируя произведения русской литературы как свободные по сути от вовлечения в военную ситуацию России, русские и западные комментаторы поддавались эффектной способности этих текстов избегать взгляда критика, который смог бы показать их службу интересам империи. Русская литература была впечатляюще успешной в ведении, поддержании и управлении дискурсом о себе таким способом, чтобы уклониться от внимательного изучения, подобного тому, которое постколониальные критики провели над британской, французской и иными западными литературами. Я называю такие прочтения кафкианскими, потому что они игнорируют связь между русской литературой и русской империей, размещая героев в как будто ничейные земли, подобные тем, в которых живут герои Кафки. На первый взгляд, чисто русские реалии великих русских романов делают их достаточно непохожими на кафкианские бесцветные и безымянные места действия. Однако с текстами Кафки их роднит экзистенциальная простодушность и безысходность, что делает центром интерпретации скорее фатум, чем соотношение между властью

и ее подданными. Будем надеяться, что некогда все-таки появятся исследования о том, как русские писатели структурировали свое согласие или несогласие с русским империализмом, присваивали в своих произведениях земли империи и приписывали Другому те характеристики, которые им были удобны у Другого для данного порядка вещей.

В отличие от «Атласа» Чу, русские историки, чьи книги формировали американскую визию России, фокусировали свои нарративы не на проблемах завоевания и агрессии, но на той цене, которую русские заплатили за эти завоевания. Некоторые из этих историков купились на идею, что Россия беспрецедентным образом пострадала от иноземных инвазий и что эти вторжения были постоянным несчастьем русского народа. Миф инвазий сформировал русскую визию жизни и русское политическое поведение, а позже был перенесен в западные интерпретации[36]. Образ жертвенности стал настолько сильно ассоциироваться с восприятием России в англоязычном мире, что его вытеснение и сегодня практически невозможно. Этот образ увековечивается книгами и утверждениями, распространенными в самых различных дисциплинах и сферах. Территориальное расширение России считается нормой, тем, что должно было произойти, а вот обратный процесс интерпретируется как катастрофа.

В противопоставление образу русского страдания «Атлас» показывает, что на центральные земли России – тульскую, рязанскую, костромскую и вологодскую – никто не вторгался со времен раннего средневековья. Наоборот, сами русские множество раз мобилизировались на завоевание владений, заселенных другими народами, основывая военные колонии в регионах, которые называли российскими сразу же, как только там ставился первый военный гарнизон. «Атлас» более, чем какая-либо иная книга, развенчивает русский миф инвазий. Книга обращает внимание на то, что этническая Россия после формирования Московского государства почти всегда оставалась фактически свободной от иноземных оккупаций. Непродолжительные польские и французские нашествия в 1610 и 1812 гг. соответственно сводились к небольшим колоннам солдат, пересекающих обширные территории на пути к Москве, тогда как бесчисленные русские села и города продолжали жить так же, как и раньше, не видя иностранных завоевателей и никогда не платя налогов оккупантам. В начале XIX в. средняя скорость человека, который ехал верхом, была приблизительно 10 миль в час[37]. Польский набег на Москву и французская попытка подчинить себе Россию проходили вдоль длинного пути, ширина которого редко превышала 50 миль. Немецкое вторжение в 1941 г., хоть и было катастрофичным во многих аспектах для русских, преимущественно разрушило советские республики Украину и Беларусь. Норман Дэвис (Norman Davies), комментируя известное утверждение о 20 млн погибших русских, говорит, что далеко не все они были русскими, не было их 20 млн и они не обязательно погибли на войне[38].

Это не означает, что Россия не пострадала во Второй мировой войне; она пострадала, и очень сильно. Как и от вторжения Наполеона (меньше во время поль-

ского набега). Но обратимся снова к «Атласу», как он описывает Вторую мировую войну в Советском Союзе. По сравнению с другими нациями и этносами, которые были полностью охвачены нацистским блицкригом, русские во Второй мировой войне имели возможность эвакуировать огромное количество людей и промышленных объектов за Урал, где те пережили войну практически невредимыми. Русским ученым не приходилось существовать рядом с врагом. В самой России немцы остановились возле Воронежа, который расположен за 1800 километров от Новосибирска (и они не заняли Москву). Хотя Ленинград был блокирован и значительно разрушен, его архитектурные и художественные ценности остались в руках русских.

Сравним это с тотальным разрушением больших и малых городов Центральной и Восточной Европы после нашествия иностранных солдат, которые грабили и убивали мирных жителей, а также после пожаров, вызванных бомбардировками и орудийными обстрелами. Хотя потери во время осады Ленинграда были трагичными, в процентном отношении этнически русское население пострадало значительно меньше, чем соседние этнические группы. Потери, принесенные ГУЛАГом, о котором говорил Норман Дэвис, также должны приниматься в расчет. Богатства ленинградских музеев не уменьшились на протяжении Второй мировой войны, а, наоборот, возросли за счет военных трофеев, привезенных из Германии и других стран; эти ценности остались в руках русских даже после распада Советского Союза[39]. Немцы оккупировали лишь около 5% территории Российской Федерации на протяжении менее чем трех лет. А вот для западных соседей России война длилась шесть лет. В «Раковом корпусе» Солженицына студентка-медик Зоя и ее семья пережили войну, эвакуировавшись из Смоленска в Ташкент. Зоя выбрала эвакуацию русских от опасности как нечто само собой разумеющееся, лишь отметив в разговоре с Костоглотовым огромные размеры «их» страны[40]. Однако после Второй мировой войны русская литература настаивала на беспрецедентной жертвенности русского народа, и, за редкими исключениями, западные ученые без вопросов эту позицию приняли.

Постколониальные перспективы России

Хотя история, изложенная в «Атласе» профессором Чу, стимулировала пересмотр русской литературы в дискурсе русского колониального опыта, методология для проведения такого исследования появилась только с развитием постколониальной теории. Западные исследования, занимающиеся отношениями между европейской колониальной экспансией и подчиненными территориями в Азии и Африки, помогают мне в анализе русских текстов. Самые главные среди исследований – «Ориентализм» и «Культура и империализм» (1994) Эдварда Саида.

«Ориентализм» легитимизировал (и стимулировал) постколониальную теорию и постколониальные исследования, чем раньше они не могли похвастаться. Саиду оказалось не просто убедить издателя взять его книгу, настолько она расходилась со стандартными западными подходами описания Востока. Однако когда «Ориентализм» появился в печати, большинство обозревателей встретило книгу с энтузиазмом, и она нашла широкую аудиторию. Саид создал модель для дискурса, который впоследствии породил сотни изданий и книг. Распадающиеся западные империи и возрастающее осознание нелегитимности навязывания его дискурса недооцененному и демонизированному Иному привели к тому, что работа Саида оказалась в центре (или близко к нему) самых актуальных проблем академического мира.

«Ориентализм» реинтерпретирует концепт, созданный «империальными» писателями XIX в., направленный на текстуальное владение «меньшими расами», которые были подчинены силой оружия во время европейской борьбы за колонии. В своем первичном значении этот термин относится к корпусу текстов об Азии и Африке, написанных этнографами, антропологами, историками и путешественниками, которые коллективно анализировали и «владели» не-западными людьми в рамках методологии исторических исследований, характерных для эпохи Просвещения. Саид доказал, что визия ориентализма была искажена с самого начала внешней позицией классификаторов, а также тем фактом, что их исследования не были нейтральными по отношению к интересам империй, уполномоченными представителями которых они являлись. Их позиция как единственных выразителей смысла не-западных культур – в то время «аборигены» не могли ответить империи – давала им неограниченную свободу для произвольной классификации Другого. Это привилегированное положение также позволяло им конструировать какие угодно статические категории, примером чему является Ориент.

В соответствии с взглядами ориенталистов, Ориент был неизменной сущностью и его обитатели могли оцениваться только *en masse*; как индивидуальности они были не более чем иллюстрациями некоторых «типично ориентальных» характеристик. Таким образом, не-западные народы стали невольниками оценивающих интерпретаций, которые мыслились как неизменные в изменяющихся условиях. Они подвергались обобщениям, которые не могли подвергать сомнениям и которых даже не осознавали: ориенталистский дискурс был дискурсом людей Запада, ведущих диалог с людьми Запада, и идея, что Ориент мог бы захотеть воспользоваться домодерным правовым кодексом audiatur et altera pars (давайте послушаем другую сторону), даже не возникала у ориенталистов. Никто не обсуждал вопросы с Ориентом, все обсуждали их в рамках своего собственного круга. Западная антропология, лингвистика и дарвиновская биология укрепляли таксономический захват Другого и делали его неспособным вырваться из клетки ориенталистских категорий. Ориенталистская интерпретация создала систему категорий, в которой оказались заключенными, представлялось, навсегда, все не-западные народы. Это была хорошо аргументированная система, и тезисы, структурировавшие ее, представлялись прак-

тически безукоризненными. Принципы мышления, основанные на Просвещении, ручались за свою надежность в течение всего обозримого будущего.

Деконструкция этой системы посредством анализа отдельных книг, а не категорий была непосильной задачей, поэтому Саид предпочел целостный подход, ориентированный скорее на всю систему, а не на ее отдельные части и элементы. Этим он начал процесс деконструкции созданного Просвещением дискурса силы, выдающего себя за объективного исследователя.

Среди наибольших достижений Саида – обращение внимания на влияние, которое интерпретаторы оказывают на объект своих интерпретаций. Хотя Саид имел дело с французскими и английскими ориенталистами, его характерно неэмоциональные (т.е. такие, которые включают только незначительную долю *рессантимента*) размышления существенны и в отношении иных подобных ситуаций. Как отмечалось ранее, на англоязычные интерпретации русской культуры влияли имперские симпатии ученых, которые русскими колониальными авантюрами восхищались так же, как ориенталисты восхищались западными завоевателями. Короче говоря, Саид расчистил дорогу, которой рано или поздно должны пройти исследователи, имеющие дело с русской историей и культурой – чем раньше, на мой взгляд, тем лучше.

Следующий шаг был сделан в «Культуре и империализме». Здесь Саид вывел постоянно повторяемое [вслед за ним] определение империализма:

> «На определенном наиболее базовом уровне империализм обозначает осмысление и заселение, контроль над землей, которой вы не обладаете, отдаленной от вас, заселенной другими и принадлежащей им...
>
> Я буду использовать термин “империализм” в значении теории и практики, и относительно доминирующего центра-метрополии, управляющего отдаленной территорией; “колониализм”, который почти всегда является следствием империализма, обозначает укоренение поселений на отдаленной территории. Как отмечает Майкл Дойль (Michael Doyle): “Империя – это отношения, формальные или неформальные, в которых одно политическое сообщество контролирует реальный политический суверенитет другого политического сообщества”»[41].

«Культура и империализм» исследует английских и французских писателей и культурных деятелей, которые ни в коем случае не могут быть названы шовинистами, но именно они формировали невинный образ имперальной визии. Джозеф Конрад (Joseph Conrad), автор «Лорда Джима», говорил амбивалентным языком: показывая Африку и Азию «снаружи», он дистанцировался от иерархий имперского правления. Подобно ему Джейн Остин (Jane Austen), лишь слегка касаясь реалий заморских владений, была беспощадна в моральном осуждении героев империи.

Саид отдает должное иронии и скептицизму Конрада относительно английских имперских завоеваний и вполне оценивает «моральную дискриминацию» у Остин[42]. Он отмечает, что хоть Уолтер Липман (Walter Lippmann) и Джордж Кеннан (George Kennan) взращивали глубокое чувство американского превосходства, оба они относились с презрением к примитивному шовинизму. Тем не менее как артикуляторы имперской экспансии они выражают готовность к *навязыванию интерпретаций нациям, лишенным силы*, что характерно для имперских мыслителей[43]. Поэтому, при всей своей амбивалентности, Конрад и Остин остаются имперскими глашатаями. Саид предлагает радикальное перепрочтение этих писателей, как и многих других.

За очень редкими исключениями, русский имперский дискурс не породил текстов настолько же самокритичных. Имперское сознание в России не было затронуто пониманием того, что *succés* (если не *noblesse*) *oblige* (успех обязывает). Ни один известный русский писатель не сомневался в необходимости или разумности использования ресурсов нации для покорения империей все больших и больших территорий или в удерживании земель, которые не являются даже славянскими. Ни один не задался вопросом о моральном аспекте колониального принуждения. Та легкость, с которой великие русские писатели в XIX в. скользили над реальностью войн российских правителей, не имеет аналогий в западноевропейских странах. Ни русские писатели, ни русские интеллектуалы никогда даже в общих чертах не описывали имперскую политику на завоеванных территориях... Идея колониальной зависимости и ее цены для завоеванных наций не проникала в русский национальный дискурс. Многие русские писатели достигли успехов в описаниях моральных дискриминаций, но они об этом свидетельствовали только с перспективы своего имперского дома, подобно британцам, которые прилагали отчаянные усилия, борясь за справедливое распределение прибыли, полученной от заморского труда рабов. В русской литературе много сочувствия к Акакиям Акакиевичам или, в последнее время, к Иванам Денисовичам и Андреям Гуськовым, но нет осознания, что эти несчастные герои все же принадлежали к привилегированному слою империи, как и несчастный мистер Микоубер к привилегированной части своего общества[44]. Достоевский никогда не ощущал иронии в том, что он пишет романы о моральных дилеммах в то время, как его читатели вовлечены в насилие за границей. Русский дискурс, не склонный к осознанию своих колониальных преступлений, вряд ли будет доброжелательным по отношению к «Культуре и империализму» (трудно поверить, что он примет эту концепцию без протестов).

Есть еще одна сложность. Категория ориентализма, переформулированная и реинтерпретированная Саидом, породила разнообразные исследования, имеющие смысл только на уровне абстракции, который едва доступен тем, кто всегда хочет иметь дело с простыми концептами. Постколониальная теория привлекает многочисленные постмодерные философские и психологические источники, что во многом объясняет сопротивление этой теории со стороны всегда более традиционных

русских писателей. За исключением эпизодов формализма и структурализма (никогда полностью не интегрированного в мэйнстрим критики), литературная аналитика в России редко привлекает новые идеи, предпочитая апеллировать к давно установившимся моделям[45]. К тому же в России многие интеллектуалы не склонны отказываться от идеи, что тоталитарные коммунистические репрессии одинаково затронули и русских и не-русских. Хотя целый комплекс имперских проблем действительно связан с советским тоталитаризмом, в исследованиях литературы он должен быть отнесен к более широкой текстуальности, которую открыла постколониальная теория, уже по той причине, что литературные исследования имеют дело скорее с текстами, чем напрямую с миром. Отсутствие дискурса, разоблачающего посредническую роль русской литературы в защите русских имперских интересов, напоминает западный дискурс об Ориенте в XIX в.

В этой связи социалистический реализм является важным явлением для понимания русской колониальной экспансии и насилия. После создания в 1932 г. Союза советских писателей социалистический реализм сделался обязательным художественным методом для двух поколений писателей России. Исключений было мало и, выявленные в малотиражным самиздате, они не могли изменить употребление языка и способы его понимания, усвоенные русской культурой... Нормы социалистического реализма, предписанные русским писателям, определили круг тем и используемый словарь. Они настолько повлияли на весь русский дискурс, что теперь он едва ли способен ассимилировать категории постколониальной критики. Несмотря на все модификации и обновления, которые происходили после смерти Сталина, социалистический реализм остался смирительной рубашкой, в которой русский язык (и, как следствие, русское мышление) был заключен тысячами писателей, ораторов и журналистов. Под их предводительством целые области человеческого опыта исчезли из языка и, следовательно, из сознания и культуры.

Словарь русских писателей и критиков, связанный с национальной лояльностью и восприятием русских не-русскими, удивительно прост, если не сказать примитивен. Любые рефлексии о подобных проблемах, как и любые эпистемологические рефлексии, вообще практически отсутствуют. Через свои песни, сценарии фильмов, романы, стихи, пьесы и статьи советские русские писатели вписывали в русский язык крайне сентиментальную визию русских, всегда лояльных к власти. За очень редкими исключениями, все русские интеллектуалы своим творчеством обеспечивали устойчивость этой упрощенной версии реальности. Политические фигуры повторяли эту версию реальности в речах и заявлениях, поднимая свой престиж и авторитет. Как результат, русский читатель сегодня рождается в лингвистической и литературной среде, наполненной мифами, восхваляющими государство, а идеи русских писателей о национальном долге по-прежнему формулируются в колониальных терминах. Русский язык сейчас находится на стадии, когда он исключает, органически отвергает концепции и идеи, несовместимые с любовью

к родине и отечеству как главной ценности (хороший русский предан стране без всяких вопросов).

«Деревенские писатели» советской и постсоветской России использовали этот лингвистический концепт, создавая героев под стать тем, что измышляли морализирующие баснописцы XVIII в., которые возвеличили магическую сущность России. В литературных дискуссиях представители русской интеллигенции все еще отстаивают идею, что Россия является страной, где свобода может быть достигнута без правовых институций, развитых на Западе[46]. Русские, говорил постсоветский интеллектуал С.С. Аверинцев, «не верят такой свободе, которая гарантирована институциями»[47]; В. Ушаков уверял своих читателей, что Россия не поддается попыткам понять ее посредством рационального анализа[48]. В поздние 1980-е и ранние 1990-е «Литературная газета» и «Огонек» (с другой стороны политического спектра – «Литературная Россия») печатали обширные дискуссии о русской идентичности. Появилось большое количество книг по этой проблеме. Но все это в основном выявлялось в рамках терминологии, принятой социалистическим реализмом[49].

Много было написано о непоследовательности «*Ориентализма*» и его неспособности придерживаться какой-либо общей методологии постколониальных исследований, не говоря уже о том, чтобы создать ее непосредственно для своих целей[50]. Но здесь следует помнить, что новая область исследований всегда возникает интуитивно и обычно в своем начале слабо очерчена (методологии появляются позже). Саид не однажды говорил, что остерегается эссенциалистской точки зрения, хотя в своих аргументах иногда подходит к ней вплотную. Он относился к французским ориенталистам гораздо более благосклонно, чем к английским, и поэтому его структурирование категорий ориентализма не могло избежать эссенциализма. Возможно, это означает, что определенные формы эссенциализма вообще не могут быть преодолены даже в по-настоящему конструктивных работах.

Саид не ограничивается концентрацией внимания на отношениях силы-бессилия между национальными группами. В своем послесловии к «Ориентализму», написанном в 1994 г., он предложил выход из тупика парадигмы власти: мы все должны бороться за дистанцирование себя от тех интересов, которые поддерживают империализм, и структурировать свои реакции относительно других таким образом, чтобы элементы расы, нации и социального положения не играли существенной роли, тогда как между культурами было бы свободное взаимовлияние через гибридное пространство, обеспеченное в постиндустриальном мире мигрантами-интеллектуалами. Возможно, это утопия, но тем не менее она заслуживает обсуждения. По наблюдениям Маргарет Кэнован (Margaret Canovan), западные демократии в границах своих стран исповедуют недискриминирующие законы, но вместе с тем они закрывают эти границы для иммигрантов из третьего мира. Таким образом, законы, которые не дискриминируют по этническим и расовым отличиям, базируются на дискриминации по этническим и расовым отличиям[51]. В рамках западных демократий недискриминация, безусловно, надежно зафиксирована в законах, но

на практике их выполнение все еще требует личных усилий. Стоит отметить, что в «Культуре и империализме» Саид использует средневековую христианскую методологию борьбы за справедливость, таким образом, снова приближаясь к эссенциализму, от которого он отказывается в иных местах. Саид цитирует монаха XII в., который советует тем, кто ищет совершенства, преодолеть самовлюбленность, которая проявляет себя как любовь к родной земле. Тот, кто любит своего соседа, находится на пути к совершенству, наставляет монах, но тот, для кого вся земля является родной и каждый человек предстает соседом, – действительно совершенен. Саид отказывается от точки зрения Просвещения, которая когда-то и породила ориентализм, ему более созвучна прежняя, докартезианская рациональность, которая как скрытая тенденция прошла через западную историю до постмодерных времен.

Книга «Культура и империализм» написана провокационным стилем и, возможно, поэтому ее вклад в теорию постколониализма считается меньшим, чем «Ориентализма». Здесь Саид выводит обсуждаемые вопросы за границы литературы – к «Аиде» Джузеппе Верди, к работам американских критиков о меньшинствах и т.д. Всюду он обнаруживает скрытые уровни колониальных захватов и патерналистской надменности. Его попытки изменить фундаментальную ориентацию американской литературной критики (по сути, американского взгляда на Иного) охватывают пространства огромных маштабов. Многие критические категории, являющиеся сегодня стандартами в постколониальном дискурсе, впервые сформулированы Саидом.

Постколониальных авторов, следующих за «Ориентализмом», можно разделить на тех, кто учитывает фактор национальной принадлежности (nationhood), и тех, кто его не учитывает. Но имперские мифы и символы, как и агрессивные войны, которые вели к колониальным завоеваниям, упоминаются в постколониальных текстах всегда, поскольку дают возможность провести ясное отличие между «нами» и «ими» (между колонизатором и колонизированным). А вот национальная проблематика не слишком заметна, возможно, потому, что она не актуальна как в Западной Европе, так и в Индии или Пакистане (большинство постколониальных теоретиков и критиков пришли из этих двух регионов). Постколониальных авторов, скорее, интересуют расовые, а не национальные проблемы: вид расизма a rebours. В этом отношении исследования русского колониализма отличаются, поскольку в формировании русского империального менталитета основную роль играет нация, а не раса. В процессе экспансии русские чаще сталкивались со сплоченными нациями, чем с племенными организациями, а поэтому антиколониальная борьба в русской империи преимущественно принимала формы национальной борьбы. Основанные на марксизме антиколониальные движения в Азии и Африке не имели четкой национальной оформленности, потому что национальная принадлежность не являлась категорией, которой марксизм уделял большое внимание, и еще потому, что в советское время российское государство деньгами и оружием поддерживало именно марксистских антиколониалистов. Поэтому марксистские антиколониали-

сты могли легко игнорировать тот факт, что Россия как нация была глубоко втянута в деятельность, которую на словах осуждала там, где не было ее влияния.

То, что основной вклад в постколониальную теорию (какой она присутствует в американских и британских университетах) внесли азиаты, африканцы и западные индусы или, как в случае с Саидом, арабы, в определенной мере свидетельствует о восстановлении исторической справедливости. Нужно отдать должное центру, его талерантное принятие критики относительно себя указывает на устойчивость интеллектуальной парадигмы, порожденной европейской культурой. Позволение Гаятри Спивак (Gayatri Spivak) или Хоми Бхабха (Homi Bhabha) формировать западную академическую реакцию на западный империализм равнозначно приглашению, скажем, поляка или литовца читать лекции о русском империализме студентам в русских университетах. Невероятность подобного предположения свидетельствует о разнице между относительной открытостью западного дискурса и дискурсом Российской Федерации, который продолжает действовать в рамках подавления и навязывания себя Другому. Это также наводит на мысль о существовании в русской культуре еще неких невыявленных факторов, которые предохраняют ее от вовлечения в контрапункты подобного рода. Отказ русских интеллектуалов от обсуждения вопросов колониализма свидетельствует об отсутствии в русской традиции способности к терпимости и инновационному мышлению. В русских литературных журналах постоянно ведутся посткоммунистические дебаты о русской истории, но они носят характер уже давно наскучившего противостояния западников и славянофилов, а не оппозиции русских с Другим[52].

Еще одним основанием движения к исторической справедливости является концептуальный аппарат, созданный постколониальным дискурсом. Разнообразный культурный фон, по-разному влиявший на формирование постколониальных критиков, сделал возможным создание академических текстов, которые далеко выходят за рамки нормативного английского языка. Они расширили границы английского, иногда через насилие над ним, заставили принять концепты, чуждые его фундаментальным структурам. Этот процесс был инициирован Жаком Деррида (Jacques Derrida); сознательно стремясь разрушить западную онтологию, он прибегал к таким стратегиям, как игнорирование привычных значений слов, которые были «недействительными». Постколониальные критики подобным образом изменяют семантику слов, фраз и даже синтаксис, а также активно пользуются неологизмами и каламбурами, которые стали отличительной чертой постмодерной критики. Необычные и неожиданные сочетания слов сегодня приемлемы в заголовках работ и лекциях как вызов канонам прошлого. Похоже, критики наслаждаются игрой словами, используя их в необычных контекстах. Вспомним эссе Хоми Бхабха «DissemiNation», феминистское/постколониальное употребление существительного «world» в качестве глагола, «worlding the third-world woman»[53] или такое название книги, как «Re-Siting Queen's English»[54].

Подобные стратегии выбираются сознательно, более того, постколониальные критики даже теоретизируют их. Автор «Империя пишет ответ» («The Empire Writes Back», 1989) называет две основополагающие стратегии, важные для адаптации английского языка к опыту и способу мышления постколониальных критиков, пришедших из разных культурных традиций: первая – отказ, вторая – присвоение. Отказ описывается как «отбрасывание категорий имперской культуры, ее эстетики, иллюзорного стандарта нормативного или “корректного” употребления в традиционном значении, “вписанном” в слова»[55]. В границах бывшей Британской империи этот постколониальный язык называется английским с малой буквы (english), в отличие от нормативного английского (queen’s English), которым пользуются бывшие колонизаторы. В результате мы имеем синкретичное использование языка с накладыванием синтаксических и грамматических правил одного языка (или нескольких) на другой. Некоторые критики полагают, что синкретический английский язык («english») появился благодаря склонности незападных авторов к метонимии, а не к метафоре, которая до этого являлась наиболее типичным тропом. «Тому, кто тропы текста прочитывает как метонимии, легче приспособиться к социальным, культурным и политическим силам, которые стоят за текстом»[56], – утверждает Билл Эшкрофт (Bill Ashcroft). Более того, переплетение языков, которое произошло в «english», само по себе метонимично: в терминах Деррида, это отличие (différence) между двумя культурными пространствами.

Пренебрегая обычным для западной традиции разделением дискурсов, постколониальные критики свободно используют поэтические техники в аргументировании философских взглядов и шокируют откровенно сексуальным языком. Постколониальные романисты делают то же самое[57]. Они утверждают, что для подобных практик существуют весомые причины. Слишком часто колонизатор видит колонизированного женоподобным и подчиненные мужчины молчаливо соглашаются на этот образ женоподобности, приписанный им. В ориенталистских текстах сексуальная и политическая доминации были взаимосвязаны[58]. Это один из пунктов соприкосновения феминистской и постколониальной критики: ярлыки фемининности в колониальном дискурсе были деконструированы феминистскими и гендерными исследованиями, которые наглядно продемонстрировали самонадеянность и излишне высокое самомнение колониалистов.

Теоретики, особенно Хоми Бхабха, похоже, получают удовольствие, показывая свою власть над языком колонизаторов, которая является отражением прежней власти англичан над Пакистаном. В работах Бхабха практически нет ординарных изречений. Их наличие – это болезненное (для некоторых) напоминание, что при всем богатстве возможностей выражения мысли стандартный английский язык с трудом приспосабливается к структурам, заимствованным из других языков и цивилизаций; поэтому носители английского языка оказываются в дискомфортной ситуации, когда им демонстрируют, что язык империи значительно больше, чем их представление о нем. Дело в том, что английский язык структурировал опыт жизни

таким образом, что за его границами оказались многие существенные моменты этого опыта. Бхабха определяет текстуальность (textuality) (одно из ключевых слов в постколониальном дискурсе) следующим образом: «текстуальность является продуктивной матрицей, которая определяет "социальное" и делает его пригодным для действия... Она не просто идеологическое выражение второго порядка или вербальный признак заданной ранее политической темы...»[59]. Это напоминает о том, что таксономия Просвещения, которая когда-то считалась универсальной, ни в коем случае не является таковой. Обучение центра на его же территории, то есть в языке, возможно, является знаком новой гибридной культуры, которую Саид представлял себе как желаемое постколониальное будущее. Кстати, носители английского языка сегодня идут тем же путем: их тексты стремятся освоить ранее исключенные области, которые открыли постколониальные критики и писатели.

С другой стороны, большинство постколониалистов, особенно выходцев из Азии, хорошо представляют значение западных культурных институций и теоретических практик, и они понимают, что эти институции и практики не могут быть отменены или игнорированы. Поэтому Гаятри Спивак разработала стратегию взаимодействия с западными лингвистическими и философскими конструктами. Она хорошо умеет комбинировать различные эпистемологические системы и не боится изменять свою точку зрения. Великолепное владение английским языком (сочетающееся с поразительной откровенностью) позволило ей константировать, что постколониальный дискурс является «постоянной критикой того, чего вы не можете не хотеть»[60]. Она права в предположении, что постколониализм основан на ресантименте (чувстве обиды), но ресантимент не единственный и даже не определяющий его источник. Изъяны эпохи Просвещения, выявленные постколониальной критикой, – реальны, серьезны и достойны внимания. Постколониализм, таким образом, подпитывает более широкий дискурс критики Просвещения, который характеризует интеллектуальную жизнь конца XX в.

Лейла Ганди (Leela Gandhi) начало постколониальной теории связывает с романтизмом и новым критицизмом. По ее словам, концентрация представителей нового критицизма на текстах, герметично закрытых от «реальной жизни», возникает с появлением постколониальных идей и принимает формы повышенного внимания к тексту. Подобно этому романтический отказ от участия в уродливом мире индустриализации выявился в побеге постструктуралистских критиков в текстуальность[61]. Текст становится местом, где могут найти приют ценности, реально исчезнувшие из общества. Но здесь следует отметить, что традиция строгого разграничения сфер опыта также является изобретением Просвещения.

Однако все эти изменения в языке и мышлении касаются лишь Запада и его колоний. Территории, контролируемые русскими, до сих пор не создали постколониальной критики, которая в полный голос могла б ответить на вызовы империи (может быть, для этого пока просто нет подходящих политических условий?). Будет ли постколониальный дискурс Российской Федерации развиваться в обозримом

будущем, зависит от готовности бывших или теперешних колоний заявить о своем «желании отличаться» таким образом, чтобы это не повторяло старые приемы антиколониального сопротивления. Милитаристической культуре русских лучше всего противостоять не силой оружия, но дискурсивным отказом быть вписанными в зыбучие пески мифологии «*родина-отечество*».

В этой связи следует отметить, что на Западе определенная часть постколониальных критиков сопротивляется идее расширения концепта колониальности на территории, которые не являлись его доминионами. Существует сопротивление и определению как колониальных территорий поселенческих культур, таких как Австралия и Северная Америка[62]. Тем не менее, как отметила Хелен Тиффин (Helen Tiffin), идентичности этих поселенческих сообществ «частично были сформированы реальностью европейского колониализма»[63]. Отказ некоторых постколониальных критиков рассматривать Австралию как составную часть колониального опыта исходит из общего представления, распространенного среди не-белого населения, о привилегированной позиции белых, чье перемещение (важное для колониального опыта) было в определенной степени добровольным и, таким образом, не шло в сравнение с принуждением черных рабов или индийцев изменять место обитания и образ жизни. К тому же и военные, втянутые в завоевание колоний, относились к белым переселенцам совершенно иным образом, чем к коренным жителям. Безусловно, можно и нужно спорить о существовании множества образцов и степеней колониальной зависимости (все они нуждаются в пристальном рассмотрении). Многие из белых переселенцев были отбывающими наказание преступниками, приговоренными к высылке. Майкл Гехтер (Michael Hechter) в работе «Внутренний колониализм» («Internal Colonialism») убедительно доказывает, что английский колониализм охватывал не только заморские территории, но и шотландцев, уэльсцев и ирландцев. Некоторыми критиками отмечалось, что даже такое государство, как Квебек (да и вся Канада), также может быть рассмотрено как постколониальное с одной перспективы и неоколониальное с другой. Белые на канадских территориях оставались свободным, а вот индейские народы были колонизированы[64].

Отрицание белыми австралийцами или не-английскими обитателями Британских островов своего колониального прошлого может помочь объяснить, почему колониализм русских в Восточной и Центральной Европе и Азии игнорировался в дебатах на эти темы. Колонизация белых белыми, которая там имела место, не вписывалась в колониальную теорию, как она трактовалась не-белыми теоретиками, такими как Бхабха или Спивак. Австралийцы и североамериканцы, перемещавшиеся отчасти добровольно как должностные лица империи, заключенные или свободные поселенцы, вытесняли местное население с их территорий. Но десятки миллионов белых не-русских, покоренных русскими войсками, разделяют с народами Азии и Африки насилие и притеснения, которые являются характеристиками классического колониализма. Руководящие посты в русской империи и, позже, в границах

советской зоны влияния, были для них недоступны до тех пор, пока они не переставали представлять свои нации и не начинали действовать в интересах Москвы[65].

Парадоксально, но белые европейцы, подчиненные колониальному правлению России или Германии (или имперской Турции, несколькими столетиями ранее), последними приходят к осознанию, что они фактически были колониальными подданными. Они преимущественно все еще оценивают русских, турецких или немецких оккупантов как тех, что выиграли войну, а не как тех, кто втянул их в длительный колониальный проект. Наверное, поэтому они еще не рассказали свою историю миру, даже несмотря на то что их культуры уже сформулировали дискурсы в соответствии с западными эпистемологиями. Но их молчание уже имеет негативные последствия. Колониальный проект, субъектами которого они были, полностью выпадает из поля зрения постколониальных комментаторов, таких как Лейла Ганди, которая выступает против включения в этот дискурс даже поселенческих культур, не говоря уже о признании колонизации белых белыми в модерных европейских империях. Также игнорируется русская колонизация Кавказа, регионов Черного моря и Центральной Азии. Как отмечалось ранее, двойственная роль деятельности Советского союза в сражениях за западные колонии и способность царской России исключать себя из колониального дискурса скрыли понимание того, что колониализм не ограничивался западными экспансиями в Азии и Африке, но также охватывал и Европу.

Авторы, чья глубокая аналитика западного империализма помогла смягчить или даже частично трансформировать его, сформулировали модель *колониальной зависимости*[66]. В соответствии с этой моделью экономическая эксплуатация периферии не ограничивалась прямым перемещением капитала, но также проявилась в притеснениях, которым подвергались колонии и доминионы в земледелии, промышленности, культуре, демографии и традиции потребления. Создание подобной колониальной зависимости было основной чертой и русского империализма (помимо идеологических манипуляций советского периода). Превращение московской номенклатурой советской республики Узбекистан в производителя сырья для русских текстильных фабрик и связанная с этим ликвидация земледельческих традиций узбеков, загрязнение земель химикатами и инсектицидами и превращение Аральского моря в соленую пустыню являются хрестоматийными примерами подобной зависимости. После подавления восстания Курбаши в 1922 г. началось масштабное переустройство богатого земледелием Узбекистана в огромный колхоз по выращиванию хлопка. В лучших колониальных традициях это начинание было поддержано местными коммунистами, что дало метрополии возможность избежать ответственности за содеянное. Фруктовые сады Узбекистана были вырублены под хлопковые поля, которые орошались всеми водными ресурсами региона. Богатый хлопковый урожай сделал возможным строительство гигантских текстильных фабрик уже собственно в России (например, в Иваново), предложить работу десяткам тысяч русских и обеспечить тканью Красную Армию. Только от 2 до 8% хлопка ис-

пользовалось в самом Узбекистане. Но вывоз хлопка на русские фабрики составил лишь часть той страшной цены, которую Узбекистан заплатил за эту инициативу метрополии. Более ощутимыми были насильственное перемещение населения, потеря традиционного земледелия, беспрецедентное загрязнение почвы и воздуха, проблемы со здоровьем, которые узбеки в полной мере ощутят в будущем. Неумеренное использование пестицидов и искусственных удобрений превратило оазисы Узбекистана в загрязненные неплодородные земли, которые сделались непригодными для земледелия. Когда катастрофа выявилась в такой степени, что дальше ее невозможно было скрывать, из Москвы в Узбекистан была отправлена специальная группа для расследования фактов и журналисты начали освещать подробности случившегося. Но имперские способы подчинения и истощения доминионов остались вне их репортажей. Русский дискурс продолжал сопротивляться терминологии, вскрывающей его колониальную сущность. В катастрофе были обвинены неэффективное советское управление и коммунистическая система[67].

Саморепрезентация России

Тот факт, что Россия смогла избежать терминологического присвоения Западом, позволил ей самой оказывать влияние на Запад не только посредством военной силы, но также через литературу и искусство. Это, конечно, не значит, что какая-то абстрактная страна, называемая Россией, сознательно работала над созданием своего образа для иностранцев или что Россия развивалась в культурной изоляции от Запада, а затем атаковала его своим уникальным дискурсом. Начиная с эпохи романтизма европейские культурные тенденции активно проникали в русскую культуру и тем самым увеличивали привлекательность России для европейского потребителя. Вместе с тем заметим, что поскольку западная интеллектуальная генеалогия кардинально отличалась от русской, то освоение западных тенденций в России давало совсем иные результаты. Траектория западной философии никогда не повторялась в России и не усваивалась русскими элитами. Формально Гегель оказал ощутимое влияние на Россию, но на самом деле русским элитам не хватало интеллектуальной базы к восприятию его философии. Два тысячелетия философствования, включая средневековую схоластику, уже лежали в основе западной идентичности к тому времени, когда Гегель появился на сцене – россияне ничего подобного в своем опыте не имели. Основные положения рационалистической логики, от Аристотеля до Декарта, не проникли в русскую культуру в такой степени, как в культурах западных стран[68]. В частности, о чем я говорила в прошлой книге, русский дискурс слабо усвоил принципы идентичности и не-противоречия. Вместо этого русские элиты использовали духовные ресурсы восточного христианства, шаманизма и врожденной интуиции, которая предпочитала мыслить в парадоксах и поэтому увлеклась подобными формулировками Гегеля[69]. Эта эпистемологическая база и легла в основу образа России, в котором сочетаются ранимость и сила, вар-

варство и цивилизованность, непорочность и жестокость[70]. Поэтому русский дискурс преимущественно позиционировал себя в пределах культурного пространства, определенного границами концептов жертвенности, креативности, патриотического посвящения и монархической славы. Вот он образ России, зафиксированный в памяти Запада: чрезвычайно творческая, величественная и географически бескрайняя страна, окруженная врагами, но обладающая поразительной культурной энергией и выдающейся любовью к отечеству.

Огромные культурные усилия, сделанные Россией со времен Екатерины Великой (которая расширила границы империи на запад настолько, что это превратило ее в одного из главных игроков на европейской арене), отразились в русской литературе таким же образом, как имперские достижения Великобритании в английской литературе. Экономическая мощь России, все увеличивающаяся после очередной аннексии соседа, дала Екатерине Великой возможность предпринять изменения русской культуры с намерением поставить ее в один ряд с культурами Европы[71]. Она ликвидировала греко-католическую церковь в Украине и Беларуси и отдала русской православной церкви собственность украинских и белорусских католиков. Позже была конфискована личная собственность и собственность институций, подозреваемых в причастности к восстаниям в западных провинциях империи. После восстания 1863 г. все римо-католические монастыри в Украине и Беларуси были ликвидированы, а большинство католических церквей конфисковано. Десятки тысяч людей оказались в тюрьмах, непоправимо разрушилась общественная и культурная жизнь, разорялись тысячи семей только появляющегося среднего класса – и лишь коренные русские наживались на мародерстве. Новейшие архивные публикации в деталях показывают преследования католиков в западных регионах русской империи; в книгах перечисляются тысячи архивных документов, свидетельствующих о притеснениях и экспроприациях католических приходов и монастырей[72]. Как заметил Хью Ситон-Вотсон (Hugh Seton Watson), поражение поляков «подняло престиж русских в Европе»[73].

Но русские и иностранные читатели узнавали об этих и связанных с ними событиях лишь из косвенных упоминаний в русской литературе. Федор Достоевский высмеивал поляков в «Братьях Карамазовых», утверждая, что после восстания 1863 г. они поехали в Сибирь добровольно, как оплачиваемые служащие империи, а не как политические заключенные и ссыльные. Другие писатели были так же неточны. В «Отцах и детях» Ивана Тургенева (1862) есть сцена, когда Павел Петрович Кирсанов входит в комнату, в которой встречает Феничку, возлюбленную его брата. Нарратор отмечает, что «вдоль стен стояли стулья с спинками в виде лир; они были куплены еще покойником генералом в Польше, во время похода»[74]. Покойный генерал вместе с братом Базарова принимали участие в подавлении польского восстания в 1830 г., и русская армия там не покупала вещи, а грабила. Из другого места романа мы узнаем, что брат Базарова был без гроша, когда присоединился к армии как военный доктор, но по возвращении он уже имел небольшое состояние. Английский

перевод романа затемняет этот вопрос и не комментирует происхождения предметов, появившихся после военных кампаний России[75]. Это классическая колониальная ситуация, когда империя навязывает свой дискурс проигравшим народам и вытесняет их видение истории даже из памяти.

Рассмотрим коротко обстоятельства, которые дали возможность генералу Кирсанову и доктору Базарову обогатиться в Польше. 31 октября 1831 г., после подавления польского восстания, царь Николай I издал *«указ об однодворцах и гражданах губерний западных»*. Тогда как крупные магнаты сохраняли свои земли и крепостных, мелкая шляхта лишалась своих дворов и хозяйств, становясь безземельными бедняками[76]. Поэтому много стульев «с спинками в виде лир» в то время перешло в другие руки, но, естественно, не на условиях свободной торговли. Описание этих событий в произведениях колонизированных по тональности схоже с подобными описаниями в книге Франца Фанона «Изгои Земли» (Frantz Fanon «The Wretched of the Earth»)[77]. То, что это осталось незамеченным западной постколониальной критикой, свидетельствует о способности России все еще контролировать западный дискурс. Снова обратимся к Джорджу Кенану (George Kennan): «Выделяются два периода русской экспансии в Западной Европе. Один начинается с времен Екатерины Великой и длится до Первой мировой войны. Это было время династических соглашений, которые не слишком влияли на жизнь простых граждан в этих странах. Вопрос заключался лишь в смене правителя»[78]. То, что дипломат уровня Кенана мог публично высказывать такие эксцентричные мнения, показывает, насколько идеологизировано было понимание России и как авторитетные игроки игнорировали очевидные факты, которые в множестве присутствовали как в западных, так и в русских источниках. Кенана можно сравнить с британским ориенталистом XIX в. лордом Эвелином Барингом Кромером (Evelyn Baring Cromer), для которого обитатели Ориента были объектом управления, а не субъектами, обладающими собственными легитимными намерениями и устремлениями.

Русское колониальное присутствие на территориях с не-белыми жителями вызвало и искаженную литературную трактовку «аборигенов». Сабиржан Бадретдинов обратил внимание, что следы этнических стереотипов пронизывают всю русскую литературу[79]. Кавказские автохтоны у Пушкина и Лермонтова – или безмолвны, или преступны; и никакая самоирония не смягчает этого отношения, как в случае с творчеством Джозефа Конрада. Воинственная враждебность со временем мало-помалу ослабляется, что подтверждается великодушным и снисходительным изображением Достоевским давно побежденных мусульман в «Записках из Мертвого дома» (1861). Простодушное включение Толстым немцев и поляков в число русских является примером готовности поглотить белые национальности империи, хотя большинство этих национальностей не желали подобного поглощения. Солженицын мурлычет от удовольствия, объявляя в «Раковом корпусе» доктора Гангарт русской немецкого происхождения[80]. Но в этой повести нет и следа понимания того, что азиатские автохтоны могут иметь проблемы, которые находятся вне досягаемости сознания

русских – что их основной проблемой могут быть сами русские. Как раз об этом работа Е.М. Форстера «Путешествие в Индию» (E.M. Forster «The Passage to India»). То, как не-белые автохтоны репрезентируются в постсоветских русских медиях и публичном дискурсе, – огромная и фактически не исследованная проблема, хотя множество конфликтных материалов подобного рода ежедневно преподносится новостными агентствами «Reuters» и «Associated Press»[81].

Когда самоуверенный голос России в XIX в. стал все более громко звучать за границей, именно ее великие романисты продуцировали доказательства того, что империя – это Россия и что судьба всех народов в границах империи – быть частью России. Посредством литературы огромное количество не-русских территорий было риторически присвоено Россией, и тогда окончательно сформировалась традиция, которая трактовала окраины империи как изначально русские. В России и за ее рубежами активно утверждалась идея, что Россия – это страна без природных границ и она продвигалась вперед только для того, чтобы защитить себя, и что ее мирная экспансия всегда имела лишь цивилизирующее влияние. От «Кавказского пленника» Александра Пушкина (1822) и «Севастопольских рассказов» Льва Толстого (1855–1856) до «Далеко от Москвы» Василия Ажаева (1948) и «Утоления жажды» Юрия Трифонова (1963) русская культура рассказывала русскому народу и западным элитам, что территории от Бреста до Владивостока и от Карелии до Чечни по полному праву управлялись Москвой. Русифицированные местные элиты, русские колониальные поселенцы, советские спортивные команды и военные хоры демонстрировали заграничным аудиториям гомогенизированную русскую нацию.

Но неуверенность империи и ее сомнения в справедливости своего колониального проекта выразительно проступают уже в первой строфе гимна несуществующего сегодня Советского Союза:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

К тому же в этом тексте классически представлено «изобретение традиции», изложенное Дэвидом Кеннедайном (David Cannedine) и другими исследователями Западной Европы. Определение *великая* относится именно к *Руси*, а не к другим этническим группам. Этим предполагается, что величие *Руси,* кроме всего прочего, состоит в том, что именно она объединила разбросанные по отдельности нации, которые полностью удовлетворены своей принадлежностью к СССР. Удивительно: *Русь* восхваляется за ее агрессию против своих соседей. Более того, гимн несправедливо утверждает, что соседи удовлетворены своей второстепенной ролью в союзе. Как объяснялось ранее, термин *Русь* имеет много значений, и он может означать как Россию, так и всех восточных славян. Правда, гимн позволяет украинцам и

белорусам поучаствовать в русском величии, но только в качестве миноритарной части *Руси*. Он подчеркивает окончательность союза и, имплицитно, вечное величие России. *The lady doth protest too much* (Дама протестует слишком сильно). Колониальная педагогика текста идет рука об руку с завершенностью политической формации, которую он поддерживает. Гимн был принят в 1944 г., когда Советский Союз одержал победу над нацистской Германией и оккупировал большинство стран в Центральной и Восточной Европе. СССР распался в 1991 г., но педагогикой гимна оперируют до сих пор. Питер Форд (Peter Ford) высказал мнение, что «одинаково как для либералов, так и консерваторов будущее России представляет большую важность, чем будущее тех стран, которые окружают ее и которые когда-то составляли русскую империю, а затем Советский Союз»[82].

Ури Раанан (Uri Ra'anan) заметил, что русская национальная идентичность была привязана к империи точно так же, как английская и французская идентичности к своим маячащим империям[83]. Когда Евгений Примаков, тогдашний премьер-министр, 15 января 1999 г. сказал в своей речи, обращенной к сибирским губернаторам: «мы [русские] потеряли Советский Союз», он лаконично выразил одну из главных *idées reçues* русской истории[84]. Эта зависимость от империи помогла установить в русской литературе иерархию ценностей и сделала возможным использование политической силы империи как плацдарма для привлечения к русской литературе мирового внимания. После Толстого и Достоевского бесчисленные миноритарные писатели и ученые укрепляли центральные положения русского культурного проекта, акцентируя внимание на защите страны, а не на агрессии, подчеркивая уникальную глубину русского человека, его способность переносить удары судьбы, суровый климат и враждебность Другого.

Деколонизация и осознание темной стороны империализма снизили стремление к имперіальному самоутверждению на Западе, но не в России. Русские до сих пор любят исторические рассуждения, в которых Россия является основой мира[85]. Дискурс силы в России и сегодня неоднократно взывает: «Россия прежде всего». Политолог Владимир Пастухов доказал, что развитие русской империи всегда происходило скорее революционно, чем эволюционно, и что процветание обычно начиналось после глубокого кризиса. 1990-е являются частью этого цикла. Россия останется империей, хотя, возможно, в измененном виде, говорит Пастухов[86]. В «Огоньке» летом 1998 г. появился материал о похоронах (запоздалых) царя Николая II. Журналист Аркадий Соснов уверял своих читателей, что похороны были «событием номер один во всем крещеном мире»[87]. Автор горевал из-за того, что сами русские уделили недостаточно внимания событию, которое заинтересовало все остальное человечество (что является совершенной фантазией). В отличие от выверенных заявлений официальных лиц статья в «Огоньке» представляет частное мнение, но поэтому ее можно соотносить с характером мышления, привычным для среднего читателя. Именно в границах подобного способа мышления, который оголяется в названной статье, писалась и интерпретировалась вся русская литература.

Обратим внимание на телевизионное обращение президента Ельцина 31 августа 1995 г., сделанное по случаю нового учебного года. Оно следующим образом призывает к почитанию тех, кто погиб во времена сталинизма: «Давайте не будем забывать, что коммунистическая партия сделала России, как много погибло *офицеров* [курсив автора], ученых, интеллигентов и крестьян»[88]. Размещение в начале «офицеров» в перечислении достойных скорби говорит о таксономии, которая демонстрирует особое русское отношение к военным как к приоритетной части общества. Это наводит на мысль, что Российская Федерация продолжает быть армией со страной, а не страной с армией. Непреднамеренно Ельцин осветил здесь роль, которую военные силы сыграли в конструировании как русской идентичности, так и идентичности Другого. Вместе с тем проблема присутствия военных в русской литературе всегда игнорировалась русским литературоведением. Но если убрать героев с военными титулами из пьес Чехова или произведений Достоевского и Толстого, то они перестанут быть таковыми.

Почти два века тому назад русский писатель Н.И. Греч писал: «Можно с уверенностью утверждать, что наш язык превосходит все современные европейские языки»[89]. В статье, опубликованной в 1945 г., покойный уже Дмитрий Лихачев призывал к созданию библиотеки исследований, подтверждающих блистательное начало русского государства[90]. Сам он посвятил большую часть своей профессиональной деятельности именно этой задаче (опираясь на советские имперские деньги). В конце XX в. Дмитрий Лихачев мог похвалиться достижением своей цели. Теперь там существует целая библиотека из работ, доказывающих, что Древняя *Россия*, которая стала Московским государством, обладала богатой культурой и была большой и объединенной страной. Труды, написанные Лихачевым и его последователями, сводят к нулю попытки меньшинств обозначить свои собственные истории на территориях, называемых сегодня Российской Федерацией. Подобно западному ориентализму, проект Лихачева создал авторитетный корпус академических книг и статей, «вписывающих» в русскую и западную память величие России. Подобное сделать под силу только империям.

Современные западные ученые утратили понимание причинно-следственной связи царизма-советов-колониализма. В значительной степени это связано с теми, кто видел в советской России тип политической структуры будущего – теми, кто, как Жуль Ромен (Jules Romains), надеялся на cette grande lueur a l'Est. Ученые и политики, которые деконструировали западный колониализм, часто симпатизировали политической системе советской России[91]. Они полагали, что прошлое царской России – это феодализм, деспотизм и капитализм, но не колониализм, о чем говорило отсутствие заморских колоний. Финансовый, военный и дипломатический вклад, который Советский Союз внес в «антиимпериальное» дело стран третьего мира, затмил тот факт, что Россия была вовлечена в практики, которые сама так основательно осуждала вне сферы своего влияния. Валерия Новодворская оценила это следующим образом: «Когда советские диссиденты из метрополии победили

коммунизм (или, возможно, только отодвинули его в сторону)... они решили большинство своих проблем. За редкими исключениями, они считали сумасшествием, если диссиденты колоний России начинали решать свои собственные отдельные проблемы»[92].

Но, возможно, эта ситуация сложилась из снисходительного отношения к русскому колониализму, наличие которого западные ученые не пожелали видеть не только в литературе, но и в политике. Россию, с ее слабо развитой потребительской экономикой и амбивалентным статусом великой страны на окраинах Европы, легко было посчитать неспособной к дисциплинирующим усилиям, необходимым для того, чтобы объединить военный и культурный потенциал в борьбе за контроль над другими народами мира. Возможно, антиимперские авторы Запада не принимали во внимание Россию как одного из основных игроков в колониальной игре, поскольку полагали, что славянские страны не склонны к колониальной гонке. Россия казалась настолько далекой от империй, вовлеченных в борьбу за колонии, что ее тексты не становились предметом рассмотрения посредством той методологии, которая деконструировала великие западные тексты. Было гораздо легче поверить, как это, кажется, сделал Хобсбаун, что современная Россия стала такой потому, что ее составляющие сами хотели стать частью «святой русской земли»[93]. Если бы Россия рассматривалась колониальными критиками вместе с Великобританией, то не было б иллюзий о том, что только западная цивилизация способна породить колониальный дискурс и стремление к собственной текстуальной визии мира Другого. Русская колониальная политика была недооценена Западом и показала его слепоту в отношении колониальных структур и методов завоеваний, которые не были созданы им самим[94].

В 1945–1989 гг. западные формулировки русских реалий были близки к риторике социалистических утопий. Русские интеллектуалы – такие, какими они были под коммунизмом, – поддерживали подобные заблуждения, поскольку это возвышало их статус и внутри страны, и за ее пределами. Правда, поразительное несоответствие между западными интеллектуальными категориями и русскими реалиями часто отмечалось, но редко основательно исследовалось[95].

Период после Второй мировой войны привел к закату западные империи, но потребовалось еще пятьдесят лет, чтобы дестабилизировать империю русских. Она существовала фактически непотревоженной до «Солидарности» в Польше, первой заговорившей об экономической и националистической неэффективности советской системы. В 1990-е гг. коммунистическая империя потерпела крах, но не исчезла полностью[96]. В постсоветский период, когда республики Советского Союза вырвались из Российской Федерации, процесс частичной деколонизации в целом воспринимался как декоммунизация, что позволило метрополии снова выпасть из поля зрения западных постколониальных критиков. Российская Федерация, все еще центрированная Москвой, остается как имперское целое, и русские тексты продолжают убеждать своих и иностранных читателей, что в стране ничего не изменилось.

Но так же как белые колонии Англии в конце концов провозгласили свою независимость, так автономные республики и регионы Российской Федерации начнут требовать себе все больше независимости[97].

После назначения в сентябре 1998 г. Евгения Примакова премьер-министром один из комментаторов заметил: «Является ли Примаков тем, кто мог бы управлять Россией, это один вопрос. Управляема ли Россия в принципе – вопрос второй. Неспособность Москвы совладать с углубляющимся экономическим кризисом усугубила сепаратистские тенденции в провинциях, усилила опасения, что Россия... может пойти путем Советского Союза, которым тот пошел в 1991»[98]. Комментируя предложение Примакова, что Москве стоило бы создать новую международную коалицию против принципов национального самоопределения, другой комментатор утверждал: «...с осознанием величины сложностей, с которыми сейчас сталкивается Россия, Примаков присоединяется к возрастающему числу русских политиков, которые говорят о том, что будущее их страны в ее теперешних границах может быть сомнительным»[99]. Империя, объединенная военной силой, находится под риском окончательного распада.

Перевод с английского Татьяны Нядбай

Примечания

1 Keenan, K. On Certain Mythical Belief and Russian Behaviors / K. Keenan; edited by S.Frederick Starr // The Legacy of History in Russia and the New States of Eurasia. Vol. 1. NY, 1994. P. 19–40.

2 Словарь русского языка. M., 1957–1961.

3 Бунин, И.А. Собрание сочинений / И.А. Бунин. M., 1966. Т. 2. С. 364.

4 New York Times. 14 December 1991.

5 Kundera, M. A Conversation with Philip Roth / M. Kundera; translated by Peter Kussi, M. Heim // The Book of Laughter and Forgetting. New York, 1980; Kross, J. The Czar's Madman / J. Kross; translated by Anselm Hollo. New York, 1993.

6 Haxthausen, A. von. Studies on the Interior of Russia (1847–52) / A. von Haxthausen; edited by S. Frederik Starr, translated by Eleanore L.M. Schmidt. Chicago, 1972. P. 310.

7 «От Польши осталась самая малость… / Они не любили повадок наших, / Вельможный кривили рот».

8 Gandhi, L. Postcolonial Theory / L. Gandhi. New York, 1998. P. 134.

9 В августе 1995 г. в «Clarinet News» была напечатана статья с перечислением бедствий недавней студентки Софийского университета, специальностью которой был русский язык. Она записалась на другой курс обучения, поскольку практически исчез спрос на учителей русского языка. В 1990 г. декан факультета русского языка Варшавского университета Антони Семчук ввел в дополнение к русскому языку английский, чтобы обеспечить набор студентов.

10 Valiev, R., Sitdikov, R., Khasanova, G. Review: Tatarstan Faces Challenges, Radio Free Europe/Radio Liberty, 31 December 1997.

11 Badretdinov, S. Sincere Soldiers and Naïve Servants / S. Badretdinov // Transitions. 5. № 12 (December 1998). P. 98.

12 В соответствии с заявлением Американской ассоциации учителей славянских и восточноевропейских языков, сделанным в 1993 г. на собрании в Сан-Франциско, количество студентов в американских университетах, которые изучают русский язык, в 1990-х гг. уменьшилось на 50% по сравнению с 1980-ми гг.

13 Goble, P. Radio Free Europe/Radio Liberty, 21 September 1998.

14 Hechter, M. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966 / M. Hechter. Berkeley, 1975.

15 Hechter, 30.

16 Solzhenitsyn, A. The Mortal Danger / A. Solzhenitsyn; translated by M.Nicholson and A.Klimoff. New York, 1980. P. 14–16.

17 Зограф, Н.Ю. Антропологические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губернии / Н.Ю. Зограф. М., 1890; Веске, М.П. Славянофильские культурные отношения по данным языка / М.П. Веске. Казань, 1890.

18 Kołakowski, L. Main Currents of Marxism / L. Kołakowski; translated by P.S. Falla. Oxford, 1978. Vol. 3. P. 95.

19 Transcript of George Kennan's conversation with David Gergen // MacNeil-Lehrer NewsHour. 18 April 1996.

20 Наиболее известным из подобных защитников России является Стивен Коен (Stephen Cohen). 14 сентября 1998 г. (MacNeil-Lehrer NewsHour) он призывал помогать России всеми возможными способами, не обращая внимания на политику ее руководства, и бил тревогу, говоря о стремлении к независимости некоторых «регионов» России.

21 Pipes, R. Is Russia Still an Enemy? / R. Pipes // Foreign Affairs. 76. № 5 (September-October 1997). P. 72.

22 Ford, P. The View from the Kremlin: Russia as Eternal Superpower / P. Ford // Christian Science Monitor. Online, 29 May 1997.

23 Джордж Кеннан: «Я думаю, нам нужно быть осторожнее, осуждая их, мы должны помнить, что русские войска вошли в центр Европы с нашего полного согласия» (A Converation with Dacid Gergen // MacNeil-Lehrer NewsHour. 18 April 1996. См. также: Kennan, G. On American Principles / G. Kennan // Foreign Affairs. 74. № 2 (March-April 1995). P. 116–126.

24 Gandhi, 170.

25 A commentary on the Ukrainian vote for independence that took place on 1 December 1991 // MacNeil-Lehrer NewsHour. 2 December 1991.

26 During, S. Post-colonialism / S. During; edited by K.K.Ruthven // Beyond the Disciplines: papers from the Australian Academy of the Humanities Symposium. № 13. Canberra, 1992. P. 95.

27 Czapski, J. Inhuman Soil [Ziemia nieludzka]. Впервые опубликована в 1956 г. Institut Littéraire (Paris).

28 Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa, 1995. P. 44.

29 Ford, P. Crossing Europe / P. Ford // Christian Science Monitor. Online. 19 and 31 July 1998.

30 The Invention of Tradition / eds. E. Hobsbawn and T. Ranger. Cambridge, 1983.

31 Seven Britons in Imperial Russia, 1698-1812 / ed. P. Putman. Princeton, NJ, 1952.

32 Journey for Our Time: The Russian Journals of the Marquis de Cuistine // ed. and trans. Phyllis Penn Kohler. Washington, DC, 1987.

33 Brydon D., Tiffin, H. Decolonizing Cultures / D. Brydon, H. Tiffin. Sydney, Australia, 1993. P. 127.
34 New Haven, CT: Yale Univ. Press, 1967.
35 Pipes (1974), 120. О том, что военные дела являются для России приоритетными, свидетельствует и тот факт, что в ее государственном бюджете на 1999 г. на армию была выделена сумма, необходимая, чтобы на 62% повысить оплату солдат и на 102% – офицеров. И это при том, что финансирование государством всех остальных направлений жизнедеятельности резко уменьшилось. Gordon, M. Russia Offers 1999 Budget / M. Gordon. New York Times. 11 December 1998.
36 Vernandsky, G. A History of Russia / G. Vernandsky. New Haven, CT, 1961; Riasanovsky, N.V. A History of Russia, 4th ed. / N.V. Riasanovsky. Oxford, 1984.
37 Czubaty, J. Rosja i świat: Wyobraźnia polityczna elity wladzy imperium rosyjskiego w początkach XIX wieku / J. Czubaty. Warsaw, 1997. P. 61.
38 Davies, N. World War II: Grand Illusions / N. Davies // New York Review of Books 42. № 9. 25 May 1995.
39 Dobrzynski, Judith H. Russia Pledges to Give Back Some of Its Art Looted in War / Judith H. Dobrzynski // New York Times. 3 December 1998.
40 Solzhenitsyn, A. Cancer Ward / A. Solzhenitsyn; translated by Rebecca Frank. New York, 1968. P. 34.
41 Said (1994), 7, 9.
42 Ibid. P. 84.
43 Ibid. P. 285.
44 Kapuściński, R. Imperium / R. Kapuściński. Warszawa, 1993.
45 Thompson, E.M. Russian Formalism and Anglo-American New Criticism: A Comparative Study / E.M. Thompson. The Hague, 1971. Юрий Лотман также является исключением.
46 Филиппов, А. Смысл империи: к социологии политического пространства / А. Филиппов; ред. С.Б. Чернышев // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. М., 1995. Т. 3. С. 421–476.
47 Умом Россию не понять // Литературная газета. 5 апреля 1990; Отзвуки великой французской революции в русской культуре // Новый мир. № 7 (июль 1989). С. 185–187.
48 Ушаков, В. Немыслимая Россия / В. Ушаков; под ред. Чернышева // Иное. Т. 3, С. 393–420.
49 Трубачев, О.Н. В поисках единства / О.Н. Трубачев. М., 1992.
50 См. критику книги Саида: Moore-Gilbert, B. Postcolonial Theory / B. Moore-Gilbert. London, 1998. P. 34–73.
51 Canovan. Nationhood and Political Theory.
52 Типичным в этом отношении является «В поисках единства» О.Н. Трубачева.
53 Gandhi, 89.
54 Bhabha, H. DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modern Nation / H. Bhabha // The Location of Culture. London, 1994; Re-Siting Queen's English: Text and Tradition in Post-Colonial Literature / eds. G. Withlock, H. Tiffin. Amsterdam and Atlanta, 1992.
55 Ashcroft, B. The Empire Writes Back / B. Ashcroft. London, 1989. P. 38–39.
56 Ibid. P. 52.

57 Проза изобилует выражениями, которые характерны для поэзии: «ограниченное пространство» («brief space»), «полмира» («half-world»). Mittelholzer, E. My Bones and My Flute / E. Mittelholzer. London, 1955. P. 43.

58 Gandhi, 99-100.

59 Bhabha, The Location of Culture, 23.

60 Gayatri Spivak, "Neocolonialism and the Secret Agent of Knowledge," quoted in Moore-Gilbert, 78.

61 Gandhi, 160.

62 Ibid. P. 168–169.

63 Past the Last Post: Theorizing Postcolonialism and Postmodernism / eds. I. Adam and H. Tiffin. Calgary, 1990. P. vii.

64 Moore-Gilbert, 10.

65 В roman-fleuve Марии Домбровской (Maria Dąbrowska) «Noce i dni» (1934) группа студентов польского университета собирается прочесть запрещенные книги, хорошо понимая, что путь к социальным верхам для них закрыт, потому что они поляки, а не русские. Действие романа происходит в конце XIX и в начале XX ст.

66 Fanon, F. The Wretched of the Earth / F. Fanon; translated by C. Farrington. New York, 1968. P. 101.

67 Шенгели, Г. Аральская катастрофа / Г. Шенгели // Новый мир. № 5 (Май, 1989). С. 176–181.

68 Thompson, E.M. Ways Out of Postmodern Discourse / E.M. Thompson // Modern Age. Vol. 45. № 3 (summer 2003). P. 195–207; Thompson, E.M. Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture / E.M. Thompson. Lanham, MD, 1987.

69 Николай Бердяев был первым, кто это отметил. Berdiaev, N. The Russian Idea / N. Berdiaev; translated by R.M. French. New York, 1948; Berdiaev, N. The Origin of Russian Communism / N. Berdiaev; translated by R.M. French. London, 1955; Gorer, G. The People of Great Russia (1949) / G. Gorer, J. Rickman. New York, 1962. P. 187.

70 Thompson, E.M. Understanding Russia: The Holy Fool in Russian Culture / E.M. Thompson. Lanham, MD, 1987.

71 Davies, N. God's Playground: A History of Poland / N. Davies. New York, 1984. Vol. 2. P. 86–90; Bobrowski, T. Pamiętnik mojego życia / T. Bobrowski. Warszawa, 1979. Vol. 2. P. 223, 441–522; Pipes (1974), 118-119. Адам Мицкевич описал подобные присвоения в тексте «Ustęp» (1832).

72 Inwentarz materialów do dziejów Kościola Katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji: 3 vols. / ed. M. Radwan. Lublin, 1997–1998.

73 Seton-Watson, 435.

74 Тургенев, И. Собрание сочинений / И. Тургенев. М., 1961. С. 149.

75 Turgenev, I. Fathers and Sons / I. Turgenev; edited by Ralph E. Matlaw. New York, 1966. P. 27.

76 Seton-Watson, 280-288; Kronika Polski / ed. A. Nowak. Kraków, 1998. P. 431.

77 «Anhelli» Юлиуша Словацкого – это пронзительное выражение тревоги и гнева подчиненного человека. Написанная на сто лет раньше книги Фанона, эта поэма в прозе высказывает чувства покоренного человека: Słowacki, J. Dzieła wszystkie / J. Słowacki. Wrocław, 1952. Vol. 3. P. 9–52. По-английски: Anhelli, в переводе Dorothea Prall Radin (London, 1930).

78 Interview with David Gergen. See n.19.

79 Badretdinov, 97–100.

80 Solzhenitsyn, Cancer Ward, 74.

81 «Термин «правозащитник» стал оскорблением России», – сказала Рэйчел Денбер (Rachel Denber), московский представитель группы «Human Rights Watch/Helsinki» в 1995 г. В отчете группы сообщается, что ситуация с правами человека в России в 1995 г. значительно ухудшилась по сравнению с 1990 г. «Русские власти продолжили жестокую войну в отделяющейся республике Чечня, полностью пренебрегая гуманитарным правом, что привело к тысячам смертей мирного населения» (Reuter (Москва), 8 декабря 1995).

82 Ford, P. The View from the Kremlin: Russia as Eternal Superpower / P. Ford // Christian Science Monitor. Online, 29 May 1997. Форд отмечает также, что в 1997 г. Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области, высказался так: «Этот парад суверенитетов [декларирование независимости бывшими советскими республиками] уже остался позади… Содружество должно управляться его лидером, Россией». Президент Борис Ельцин в предисловии к своей книге «Борьба за Россию» писал: «Я всегда придерживался мысли, что Россия должна оставаться сильной державой во все времена… Мы получили статус великой державы в наследство и он не только является основой для нашего сознания и нашей культуры, а и кодексом для каждой государственной структуры России». Леонид Фитуни, глава либерального Центра стратегических и глобальных исследований, сделал следующий прогноз: «Конечно, когда Россия станет на ноги, залечит свои раны, когда ее экономика вырастет, она посмотрит за свои границы… Когда Россия будет сильной, неизбежно будет происходить процесс экспансии – сначала экономической, затем политической».

83 Ra'anan, U. Introduction / U. Ra'anan, ed. // The Soviet Empire: The Challenge of National and Democratic Movements. Lexington, MA, 1990). P. x.

84 Agence France-Presse, 15 January 1999.

85 Чернышев, ред., Иное.

86 Пастухов, В. Будущее России вырастает из прошлого. Посткоммунизм как логическая фаза развития евразийской цивилизации / В. Пастухов // Полис. № 5–6 (1992).

87 «Похороны Николая II – событие номер один во всем крещеном мире» / А. Соснов, Нелюбовь к отечественным гробам // Огонёк. № 28 (13 июля 1998).

88 Сообщения Пенни Морвант (Penny Morvant) в OMRI «Daily Digest» 1 сентября 1995 г.

89 Davies, 1984, 89.

90 Д.С. Лихачев, обзор работы Б.Д. Грекова «Культура Киевской Руси» (Исторический журнал. Вып. 1/2 (137/138) (1945). С. 89–90.

91 Неполный список включает Розу Люксембург, Дж.А. Гобсона, Габриэля Колко, Дж.В. Шумпетера, Анну Арендт, Пола Кеннеди, Вильяма Эплмена Вильямса, Ноэма Хомски, Ховарда Зина, Валтера Лефебра (Rosa Luxemburg, J.A. Hobson, Gabriel Kolko, J.A. Schumpeter, Hannah Arendt, Paul Kennedy, William Appleman Williams, Noam Chomsky, Howard Zinn, Walter Lefeber). Said, Culture and Imperialism, 5.

92 Новодворская, В. Бросайте за борт все, что пахнет кровью / В. Новодворская // Новое время. Сентябрь 1996; Throw Everything Overboard That Smells of Blood // translated by Steven Clancy. Sarmatian Review 17, № 3 (1997). P. 482.

93 Hobsbawn, E.J. Nations and Nationalism since 1780, 2d rev.ed. / E.J. Hobsbawn. Cambridge, 1990. P. 65.

94 Американский экономист Пол Марер (Paul Marer) доказывал, что Россия поддерживала экономически нежизнеспособные центральноевропейские страны. Marer, P.

Dollar GNPs of the USSR and Easten Europe / P. Marer. Washington, DC, 1985; East European Integration and East-West Trade / P. Marer, ed. Bloomingtone, 1980; Marer, P. Soviet and East European Foreign Trade / P. Marer. Bloomingtone, 1972.

95 William, C. Strategy and Power in Russia, 1600–1914 / C. William, Jr. Fuller. New York, 1992.

96 В 1995 г. была создана девяностая «автономная» провинция вокруг аэродрома Байконур и города Ленинска, арендованных на два десятилетия у Казахстана. С другой стороны, регион Чечни держит курс на независимость, таким образом уменьшая количество субъектов федерации до 89.

97 В интервью Radio Free Europe/Radio Liberty 15 сентября 1998 г. Збигнев Бжезински (Zbigniew Brzezinski) предположил, что Российская Федерация будет реорганизована в конфедерацию, состоящую из русской земли в европейской части России, Центрального региона в Сибири и Дальнего Востока.

98 Caryl, C. Russia's Tough Guy / C. Caryl // U.S. News and World Report. Online. 21 September 1998.

99 Goble, P. Can Russian Diplomacy Hold Russia Together? / P. Goble. Radio Free Europe / Radio Liberty. 23 September 1998.